
ЗИНАИДА ГИППИУС

Статьи военных лет

(1914–1917)

Так надо — так будет

Мы очень мало разбирались в том, что такое «культура», «культурность». Недостаточно понимали, что истинная культура — понятие двойное. Развитие, восхождение народов идет двумя параллельными путями: внутренним и внешним. Культура духовная должна быть в какой-то гармонии, в сообщении, в известном равновесии с культурой механической. Совершенного равновесия нет, конечно, нигде. Но горе народу, потерявшему это равновесие так давно и так сильно, как Германия.

Что же удивляться и так называемым «германским зверствам»? Преувеличены или нет факты — но они существуют.

Это естественное поведение людей, не стоящих на уровне общеевропейской духовной культуры XX века, опоздавших на несколько столетий. Царь Давид не сделался зверем, когда перепилил 50 тысяч пленных тупыми пилами. Он остался человеком... только своего времени. Германия уродлива, несчастна и нетерпима потому, что она сегодня еще живет тем, что для культурного человечества уже отошло в историю. А все мы, легко обманутые механикой, этого не видели...

Ни у одного из народов мира (не только Европы) нет совершенной гармонии между двумя культурами, но ни у единого нет между ними и столь потрясающего разрыва. Быть может, я не ошибусь, сказав, что у нас, в России, духовная культура перегнала механическую. По существу это неравновесие уже счастливее обратного, германского; тяжелое испытание, кроме того, показало, что несгармонированность наша не крайняя, не отнимающая, а прибавляющая нам сил. Освещающая понятие «правды».

...Ненависти нет у нас, и слава богу: ненависть не залог победы. Ненависть буйна, а сила спокойна. Ненависти не стоит ни Германия, ни Вильгельм. Что Вильгельм! Автомат. Верхнее колесо хорошо слаженной, но не управляемой никем машины. Наш истинный враг — голая, разросшаяся, механическая «культура», давящая живую душу. И, посмотрите еще, как она хрупка, эта чистая механика, как мало годится, в сущности, для войны! Перережут такие проволоки, взорвут рельсы, иссякнет бензин, — и война примет старые свои формы, как будто и не было веков работы человеческого гения. Неестественно приспособили эту работу к человекоистреблению, и она изменяет на каждом шагу.

Для самой Германии надо, чтобы ее победили и освободили ее поработанную живую душу.

В наши времена

Знакомый священник рассказывал мне, какое было настроение нынче летом в деревне у идущих на войну, и называл это настроение «святым». Радостная готовность, мужество, серьезность, простота и никакой злобы. Вот это отсутствие злобы, ненависти или презрения к врагу особенно потрясло рассказчика, умиляло его.

Все, возвращающиеся сейчас с полей битв, действительно соприкоснувшиеся с нашим воюющим народом, говорят о том же: умирая, побеждая — народ безлобен и прост. О простоте и особом, отнюдь не ненавистническом или презрительном, отношении русских к врагу говорил и Л. Толстой в «Войне и мире»; в этих именно свойствах духа видел он одно из верных обещаний победы. И разве не так?

Но есть, оказывается, люди, которые «святых» сторон русского духа не понимают. Думают, что тем больше патриотизма, чем больше злобы. И усиленно кричат о своей злобе, о ненависти и презрении к врагу, наивно думая, что в этом они «народны». Но народ знает, что сила не в злобе, а в простоте и правде. Дух России один, в какой бы стадии культурного развития он ни находился. Первичная «простота», развиваясь, может преобразиться в душевную тонкость, чуткость, но не переходит в грубое озлобление.

Печать между тем часто его поддерживает. Не стоило бы говорить, если бы дело касалось только одной видной вечерней газеты, которая буквально ни разу не выходит без оформленного доноса на какого-нибудь Ивана Ивановича Мейера, доноса, что он — Мейер, а следовательно... Не стоило бы потому, что слишком давно известна упомянутая газета своей шпионнической деятельностью и антирусским характером. Но вот в Москве издается журнальчик, будто бы «для народа»; можно судить о его содержании, взглянув на одну из страниц последнего номера: стихотворение, состоящее сплошь только из ругательных слов, причем «подлец», «мерзавец» и «холуй с хамом» — самые приличные. Скажут, это — улица; тем хуже: журнальчик расходится в 70 тысячах экземпляров! Даже в больших «прогрессивных» и «левых» газетах сплошь и рядом говорится о вражеских «черепках, раскалывающихся, как орехи», о том, что «Германия — ушат помоев» и т. д. Статьи в спокойном и трезвом тоне «понижают», по мнению редакции, «настроение», а вот такие — повышают.

Но для чего, кому нужно это «настроение» бессмысленной злобы? Одно я знаю: оно не нужно и чуждо драгоценным защитникам нашим, русскому народу, ушедшему на войну с безлобным, «святым» чувством. Вот если бы автор «помоев» полежал денек-два в окопах или — куда уж! — хоть пошел в госпиталь с любыми ранеными в «козла» поиграть (только смиренно), он, может быть, другим бы духом заразился и на интеллигентские «помои» перестал бы тратить.

Не только дел в России уйма непочатая, — дел неотложных, — но столь же много и слов несказанных, и они тоже сейчас нужны. Однако если дела нужны для России русские, то и слова — русские, идущие из серьезно настроенной души, — ведь очень серьезны данные времена. Серьезность — еще вовсе не уость. Время обязывает нас вдумчиво и серьезно относиться ко всякому делу, но и военное время отнюдь не ограничивает дел войной. Оно только приумножает их.

Современное крикливое «настроение» наше сбило с толка писателей и литературу, которая частью совсем себя упразднила, частью кинулась в злободневность,

а это — тоже в сущности самоупражнение. Толпа требует злободневности, но искусство, всецело отвечающее требованиям толпы, перестает быть искусством. Художник, идущий непременно навстречу толпе, перестает быть художником. Эти банальные истины совестно повторять, но слишком они сейчас забыты. Если в сорокаградусном жару, тут же, на постели, самый гениальный писатель примется «созидать» психологию человека с жаром в сорок градусов, то ничего, кроме позора, вроде «Позора Германии» г. Дальского, не выйдет. Дальскому, впрочем, эти опыты простительны, ведь он — не только не гениален, но даже вовсе не писатель.

Итак, злободневных произведений искусства быть не может. Но тогда поднимается вопрос о существовании искусства вообще в наше острое время. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Что же, я это вполне понимаю. Художник прежде всего — человек и выбирает то дело, к которому его сейчас наиболее влечет, которое ему кажется наиболее подходящим. Оставил перо, взял ружье — просто не мог сделать иначе. Анатолий Франс — не пример. Надо знать этого худенького, доброго, красивого старичка с живыми глазами, тончайшего скептика, в изящной речи которого всегда светится незаметная улыбка, чтобы оценить тон его письма: «...говорят, что мои писанья не нужны... Может быть, это — правда... Ну что же, сделайте меня солдатом». И пошел делаться, и остался, когда в солдаты его не взяли. Конечно, он будет писать (не «Позор Германии» во всяком случае): ведь раз его служба оказалась не нужна — вероятно, нужны его писанья. «Вероятно» — большое утверждение для скептика.

И я не сужу никого, кто действительно выбирает, берет на себя дело, которое по совести кажется ему сейчас важнее других. Я сужу безделье, мнящее себя делом; активную праздность, ведущую к роспуску инстинктов, к выдумыванию несуществующих и совсем не русских, по существу, «настроений». Должны же мы это когда-нибудь понять. И тогда естественно возродится искусство. Нет таких времен, когда было бы не нужно нужное дело — творческая работа. Все пути творчества нужны всегда — искусство один из них.

Не суживаясь в злободневность, наша созидательная работа не может все равно быть вне своих времен, вне действительности; но глубина, а не поверхность действительности должна быть захвачена творчеством. Много дел несделанных, много слов несказанных. Война пройдет, но Россия останется. Война — великое дело, но Россия шире всякого одного дела, ей нужны совокупность и многообразие великих дел.

Искажения

Если общество, в некоторые острые периоды времени, совсем не имеет суждений и новых каких-нибудь мыслей — не беда. Значит, некогда думать, надо дело делать.

Если период бездумия затягивается, — это уже несколько ненормально, но все-таки ничего. Сейчас другая печаль. Мы судим, и мысли высказываем, — только немедленно их искажаем, бог знает во что превращаем приспособлением к безраздельно владеющим нами чувствам. Или не для того мысль, чтобы осветлять, направлять чувство? Она чувства не исказит, у нее для этого и средств нет, но, подчиненная

чувству, сама искажается до неузнаваемости, до вредности, так как все же носит маску мысли.

Чем мы хуже англичан? Почему в часы тех же испытаний они умеют сохранить равновесие, покой, истинно человеческое чувство меры во всем, а мы чуть не в заслугу себе ставим иногда отсутствие меры? Лампада англичан с фитилем и может ровным, нужным огнем прогореть сколько угодно времени, а мы знать не хотим регулирующих фитилей, о времени не думаем, — лишь бы горело пожарче. «Русский человек не знает расчета, — говорят с гордостью, — не живет “холодным разумом”, а весь — в порыве!» Очень хорошо. Я высоко ценю порыв. Но неужели порыв — всегда неразумен? Почему — если разум, то сейчас же «холодный», а если расчет, то непременно «низкий»? Вот воистину пустозвонные «слова, слова, слова»!

Особенно жалко видеть, когда выверту, искажению подвергается мысль, по существу верная, могущая быть в свою меру полезной, что-нибудь кому-нибудь пояснить, к чему-нибудь повести. Я не буду заходить в те углы, где правильное соображение о пагубности некоторых немецких влияний на Россию давно переработалось в дикий, в простой крик: «Не надо немцев!» Не надо, не разбирая, откуда ты, из Веймара, из Риги или из Смоленска. В этих темных углах всегда одна работа, она производится и без всяких мыслей, и во все времена; тут главное — «не надо», а кого — смотря по обстоятельствам.

Но неужели неверна объективно мысль, что и во время войны не должна, по возможности, замирать в стране вся культурная жизнь, не должны гаснуть вчерашние ценности, прекращаться личная, творческая работа? Казалось бы, так просто и бесспорно, до банальности. Но, вот я вижу эту мысль современно преломленной на страницах свежей газеты. В изысканных стихах меня убеждают, что «еще не значит быть изменником», если хочется и теперь «гулять по Невскому проспекту и кушать крем», «грезить о синих очах» и т. д., что «война — войной, а розы — розами». Да я мгновенно отрекись от всякой «верной мысли», провались «сохранение общих ценностей», пойдемте лучше все огулом на войну, только бы не было оправдано «кушанье крема».

И это, однако, — пустяки. А вот посерьезнее.

Столкнувшись с современной «культурной» Германией, мы несколько больше поняли, что такое настоящая культура. Поняли, что она по существу — двойственна, что лишь при соответственном развитии обеих сторон жизни — внутренней и внешней — их взаимодействии и сгармонированности, получается истинная культура. Ни один народ не может назваться культурным, если нет в нем известной гармонии между ростом духовным, внутренним и чисто внешним. Любая сторона, развиваясь самостоятельно, независимо и чрезмерно, давит тем самым на другую и все более замедляет ее отставший ход. Германия — яркий пример такого перероста внешней стороны в ущерб внутренней. Дух Германии давно задавлен «плотью» — техникой; голая техника, механика — уже не культура, а варварство. Естественно желать победы над этим варварством. Я не сомневаюсь, что настоящая Германия, — задавленный дух ее, — стремится к освобождению; и в этом смысле — да, для самой Германии нужно, чтобы ее победили.

Во что же могут превратиться эти простые мысли, приспособленные к чувствам-инстинктам? «Немцы — автоматы (механика). Автоматы — и Крупп и Кант, и Кант и Крупп».

Черта перейдена, мера нарушена, мысль взята и в корне искажена, послужила лишней пищей для злобы, как последующие выводы из этой мысли — для бесцельного самовосхваления. Мы, мол, не таковы, как Германия, мы — не автоматы, у нас нет механики. (Изничтожим всю Германию во имя совершенной русской культуры!)

Конечно, мы — не автоматы. Менее всего. Но зачем забывать, что истинная культура — в гармонии, в сочетании внутреннего развития с внешним, в двусторонности? Если голая механика — варварство, то и переразвитие духовное — тоже путь к варварству в конечном счете.

Счастливое положение России вовсе не в том, что у нее «нет механики», и нечем тут хвастать, нечему радоваться; в том счастливое положение, что, хотя внутреннее развитие России и опередило внешнее, — разрыв между ними еще не так безнадежен, расстояние не так велико. Опасность варварства всегда есть, но не страшна, пока мы о ней помним.

Мировая привычка ставить «дух» выше «плоти» — только привычка: они — равноценны в движении жизни и равно необходимы в понятии культуры.

Лев Толстой — наша гордость; его уклон — высшее развитие духа; но в то же время это — уклон к ущербу культуры. Лев Толстой шел в своем до конца; и он открыто отвергал искусство, науку, технику, все, что для нас входит, как ценность, в понятие культуры, все, что делается «механикой» только при непомерном умалении духа. Но ведь Россия не может и не захочет отказаться от культуры. Чем же хвалиться, почему так ликовать, что еще пока плохие дороги, мало докторов, неграмотный народ, довольно слабая техника? Не это даст нам победы, не это даст нам преимущество над немцами. Если для лишних поводов к самовосхвалению говорим мы о «механичности», неистинности немецкой культуры, то мы еще ничего ни в механичности, ни в культуре не поняли, и лучше уж совсем об этом не говорить. Тысячу раз лучше не иметь никаких мыслей, чем исказить их по первому произволу чувств и данных настроений.

А безмерностью, безудержностью, беспреградностью чувств, редко не проверяемых, тоже лучше бы не хвалиться. Отсутствие критерия, меры, сдерживающего начала может самые благородные чувства незаметно превратить в стихийные инстинкты. Слишком большая «свободность», душевная «легкость в мыслях» — уже признак начинающейся дисгармонии, признак того, что реализм жизни отстает, не поспевает за стремительным ростом духа. Вот где должна лежать наша забота, если мы думаем об истинной культурности! Не нам презирать «плоть» — реальность, деловитость, живую технику мира; у нас-то она уж наверно не дорастет до бездушной механики, до немецкого варварства. Но не радоваться, что есть еще где-то плохие дороги и курные избы, должны мы, но учиться строить дом, достойный возрастающего духа России.

А так как судьба ей судила принять участие в великой борьбе за освобождение Европы от губительного автоматизма, — будем ясно видеть и себя, и других, будем знать, против чего и во имя чего мы пойдем в борьбе до конца.

Апогей

Он был всегда человек увлекающийся и громкий на слова. А что с ним случилось «в чаду войны» (заглавие статьи Розанова в «Н. Вр.») — уму непостижимо. Не знаешь, как и определить. Вот разве: одна юная гимназистка жаловалась в письме, что хочет и не может «довести себя до апогея». Г-ну Л. Андрееву посчастливилось: именно довел себя до апогея.

Я заметил, что цитаты из Л. Андреева *sunt odiosa*. Непонятно, однако — факт. Ничего, обойдусь и рассказом об андреевских апогейных действиях. Прежде всего — количество. За какую газетину, за какой журналишко ни возьмись — он! И «День», и «Биржевые», и прочие, а «Отечество» (к счастью, в кавычках) так прямо затоплено. Л. Андреев и на сцене Александринки, и на эстраде в виде Бельгии, и в «инициативной группе» печати, вместе с А. Столыпиным, — на собрании в думском зале.

В зале я не был, как проявился апогей г. Андреева там — не знаю. А как в литературе — немножко знаю. «Отечество», например. Это ведь — наш нео-Сатирикон, ежели судить по карикатурам. Сидит на задней странице громадный, в красках, немец и гложет окровавленную человеческую кость; а вдали — бледные фигуры «ученых всего мира», бессильно «протестующих». Картинку, очевидно, поясняет статья Л. Андреева, с криком протестующего против протеста ученых и литераторов Москвы, которые протестовали... впрочем, все знают, против чего они протестовали.

Какое же содержание андреевского апогея или хоть цвет и вкус, если в «апогеях» не до содержания?

А цвет и вкус обыкновенные. Раз нельзя приводить собственные слова Андреева, — приведу очень близкие, повторяющие г. Андреева, слова В. Розанова («Нов. Время», № 13891): «Этих мерзавцев-немцев надо колотить по морде — ружьем, плетью, кулаком, чем попало... Идите и старый, и малый против этих ученых зверей».

При всем внимании я ни следа еще каких-нибудь мыслей в современном творчестве г. Андреева уловить не мог.

Теперь самое интересное. Об исчезновении г. Андреева в лучах своего же апогея. Слова гремят, но гремят рядом и розановские, и подобные; и ни одна живая душа не слышит именно Андреева. Его отличают, когда он вдруг спадет с голоса и заведет психологию. В этом случае перебрасывают страницу — скучно.

Воды Бельгии не освежили увядших лавров на челе нашего бывшего «пророка». Он глаголет, напрягаясь всюду, а ему не то что не внемлют, а так, без всякого внимания. Хочешь — глаголь, хочешь — не глаголь. Проглаголят другие.

Разве гимназистка позавидует, если за это время сама не успела «довести себя до апогея». А успела — так ее доля слаще. Глаголать негде, — остригла косу, пошла на войну. По крайней мере, польза.

Странности газетно-театрального мира (Письмо в редакцию)

Необъяснима, на мой свежий взгляд стороннего человека, «психология» театральных рецензентов. Кричат о «событии», удивляются, что Савина играет в пьесе, режиссируемой Мейерхольдом. Чему тут удивляться? Тому, что до сих пор этого еще

не было? Нет, — говорят они, — событие от того — событие, что Мейерхольд — новатор, да еще «левый новатор!» (?), а Савина — «заслуженный бытовик». Бог весть что, в сущности, означают эти трафаретные определения; до сущности все равно не добраться. Но не поздравили бы мы Мейерхольда, будь он действительно «новатором» в ходячем понятии. Ведь как это представляют: Мейерхольд — значит, «мечта-красота», «эльфы-сильфы», подход ко всему «не прямо, а боком» и вообще какой-то «символо-аллегоризм». Вот «новаторство», да еще «левое» (!). Савина — непременно дочеховский «реализм», непременно «традиции», — вот «заслуженный бытовизм». Два, мол, полюса!

Никаких двух полюсов нет, а есть один вздор. Пора бы гг. пишущим о театре опомниться, стряхнуть с себя пыль старых слов, внести хотя бы минимальное, но подлинное новаторство в свои представления. О чем они говорят, когда пишут о театре, — о ком? Об искусстве, о художниках? Так это надо помнить. В искусстве нет разделенья на «мечту и красоту», с одной стороны, и на «реализм и быт» — с другой. Можно проповедовать «мечту-красоту» и быть старым, даже дряхлым (не видим ли мы это постоянно?), — можно утверждать простоту, ясность, реализм жизни — и быть новатором. Если Савина — художник (тут ведь и гг. газетчики не спорят?), если в Мейерхольде есть художник, — они не только могут соединиться для общей работы, которая им обоим кажется работой художественной, — но они даже не могут не соединиться. То, что удивляет застывшее обывательство театралов, совершенно естественно с точки зрения искусства. Я скорее удивляюсь, что этих соединений не было до сих пор; я считаю мою пьесу «Зеленое кольцо» просто одним из множества к тому поводов, случайно первым, — вот и все.

Гг. рецензенты немного перестарались, — у страха глаза велики, — соединив с Мейерхольдом кстати и другого «заслуженного бытовика» — Давыдова. Насколько я знаю, — в моей пьесе он не играет, для него там и нет, кажется, подходящей роли. Но я думаю, явись завтра пьеса, которая даже не в смысле роли, а сама по себе понравится Давыдову, — он не испугается, узнав, что она нравится и Мейерхольду, и не откажется от совместной работы с последним. Так я думаю потому, что и Давыдов — художник.

Да, следует гг. театральным «писателям» обновить свое перо; давно пора взглянуть в сторону просто искусства, просто художников, выйти из обывательски-жизнейских традиций. Не всегда и все традиции хороши.

Наше будущее

— Знаете что, господа? По-моему, самое страшное в этой войне — участие детей, — говорит почтенный русский офицер, выдавший виды. — Самое подлое, преступное, по-моему, то, что немцы посылают на войну детей... («Дети-воины», «День», от 15 ноября).

В статье г. Кузьмина-Караваева «Юноши на войне» говорится уже о русских детях, не посылаемых, — боже сохрани! — а «всякими правдами и неправдами бегущих на войну». «Суть в том, — замечает автор, — что детей на войне быть не должно... И они обязаны знать, что будут на войне обузой».

Кажется, ясно — спора нет. Но вот еще одна статья на ту же тему, В. Розанова «В чаду войны» («Нов. Вр.» № 13891). Как свойственно «интимному» писателю, — Розанов рассказывает о собственном, 15-летнем, сыне. Сын «бурлит», стремится на войну, грозит убежать, «если добром не пустят». Причем сын такой, что над книгами все равно засыпает, даже заглавия книжного путем не может прочесть и ни о чем «не имеет ни образа, ни понятия». «Что же у него в голове?» — изумляется Розанов. Однако за побег на войну «хотел его выпороть, да с меня ростом, боюсь, сдачи даст».

Хотел выпороть и вдруг... перейдя на второй столбец, заговорил с тем же сыном — наизнанку: «Помнишь, Василий, Тараса Бульбу? Женщины (мать, сестры) не понимают мужчин. Мужчина действительно должен сражаться... Ученье? Что такое ученье? Это десять книжек, от которых тошнит? Кого же ученье воспитало, вдохнуло героизм, мужество, правду? Ученье... его всегда найдешь, много их шляется, учителей без места...» И Розанов не только «отпускает добром» подростка-сына, но и сам, кажется, собрался на войну, ибо кончает таким общим призывом: «... мерзавцев (немцев) надо колотить по морде, — ружьем, плетью, кулаком, чем попало... Идите и старый, и малый против ученых зверей!»

Не очень, конечно, любопытны мнения и выверты столь «известного» писателя, как Розанов. И мы не германцы, детьми не сражаемся, а потому юный Вася все-таки скорее попадет под розги, чем на войну. Пятнадцать лет... не о чем разговаривать. Многие, в 13–15 лет бегущие сегодня на войну, — делают это в том же порыве детского огня, который в невоенное время заставляет школьников бежать в Америку, в разбойники, в индейцы, — мало ли куда? Это явление вечное. Тип маленьких героев — вечный тип. Интереснее было бы понять, какова в общем наша современная молодежь — нашего века, нашего времени; что — в ней?

Может быть, это закон природы, что отцы не понимают детей. Может быть, это мне лишь кажется, что сегодняшние отцы дошли до абсолюта в непонимании сегодняшних детей.

Во всяком случае, не в н и м а н и е отцов к детям в нынешние времена какое-то исключительное. Говорю о внутреннем невнимании; заезженных громких слов, заискивающих поощрений (когда дело идет не о собственных детях, а о «детях» вообще) и внешних забот (о собственных) — этого сколько угодно. Так было до войны, так и теперь.

Я не претендую на какое-нибудь особенное понимание современности, но внимание у меня есть. И война лишь подтвердила некоторые мои наблюдения. Во-первых — она оказалась благодетельной для той части молодежи, которую мы привыкли называть «старыми молодыми»; для наших «невпритык», выбитых жизнью со своего места и не умевших найти новое, для тех, кто бегал по футуристам, или опускался в нео-чеховский быт, или безвольно шел в самоубийцы. Их война положительно возродила. Подогрела кровь, дала содержание, смысл жизни, если не новый, то новый для них и, во всяком случае, яркий и конкретный. Многие устремились прямо па войну (им ведь не «бежать»; они взрослые); другие, оставшись, все равно отдали себя войне, забыли вялость и скуку, работают как умеют. События переполняют их, увлекают... иной раз дальше, чем нужно, но где думать о мерах в такие времена?

Есть у нас и другая молодежь, тайная, потому что очень уж молодая. Отцы и к явной-то невнимательны, а об этой что ж говорить. Да она и не ждет внимания, хотя сама внимательна ко всему, следит зоркими глазами, берет, что ей может пригодиться, — из мира, от невидящих отцов — и уносит в свою закрытую лабораторию.

Что там готовится? Я не знаю. Не жизнь, конечно, — жизнь в будущем, они сами — будущее. Но думаю, кое-что пригодное, даже необходимое для будущей жизни из этой потаенной лаборатории вынесется.

– Вы жалеете, что слишком молоды? Вам хотелось бы пойти на войну?

– Нет, как жалеть? Это случилось, то есть, что мне не хватает лет, значит, не без смысла же. Мне, нам, надо будет жить после войны. И вот об этом...

Но перебивает себя:

– Конечно, я здоров, силен... И если бы понадобились мои руки... В санитары, например... Или в какую-нибудь тяжелую работу... такую, знаете, вроде... Я бы сейчас же пошел.

Да, они будут жить после войны. И сознавать это, с этим переживать войну внутренно, — пожалуй, труднее, чем взять да кинуться в нее, тайком от заботливых родителей.

Кажется, у этих детей уже есть кое о чем решения потверже отцовских: отцы шатались, сомневались, отрекались... для детей многое уже совсем ясно. Отцы, конечно, улыбнутся: а опыт? а жизнь? Жизнь будет, но частью уже есть и теперь; опыт... неужели у юности так-таки нет опыта? К ее услугам опыт всего человечества. Свой собственный — всегда только необходимая прибавка к бессознательному, врожденному, в крови носимому.

Любопытно отметить, чего главным образом хочет та новая, неизвестная, молодежь, о которой я говорю. Она хочет знания и воли. Надо «уметь хотеть» и «знать, чего хотеть». Это не я определяю, это они сами. Пожалуй, слишком общо. И слишком наивно, скажет «отец». Но не без мудрости, не без верного инстинкта, — ведь как раз «воли»-то не хватало их «отцам», да и старшим братьям. «Все только придумывали, а делать не делали. И перековеркалась жизнь».

Некоторая самонадеянность — закон юности, да и право ее, пожалуй. Я ничего не предсказываю; но думаю, что будущая жизнь принадлежит именно тем людям, которые «умеют хотеть»; и факт, что есть в наше время юность с таким сознанием, с таким уклоном, — кажется мне фактом очень радостным.

Этот уклон не ярко видим, да и не во всех частных группировках молодежи присутствует. Однако всякая группировка достойна исследования.

Вот, например, недавно появившийся студенческий журнал «Северный Гуслар». Само по себе — это хорошее, доброе дело; и если бы даже весь он, целиком, шел в пользу недостаточных студентов, без отчисления «для раневых», — мы бы также хорошо покупали его у студентов, которые «сами пишут, сами продают». Материальная поддержка учащейся молодежи не менее нужна, чем раненым. А что сказать о журнале как о таковом, о молодой группе его составителей, — я совершенно не знаю. Кто они — старше или младшие? Чего они хотят? Конечно, хорошего: объединения всей учащейся молодежи, свободы от партийности... Но умеют ли они «хотеть»? И может ли быть объединение на принципе отрицательном,

какова «беспартийность»? Достаточно ли этого? Проскользнула в одной редакторской статье более определенная фраза: «... нас, называют нео-славянофилами...». Но далее понятие не было разъяснено. Это уже ошибка. Слишком «известно», что такое наши, — даже «нео», — славянофилы. «Мы хотим взобраться на высокую башню...»

Вернее всего, что группа «Гусляра» сама еще не знает, кто она; и находится не на башне, а на перекрестке. Это хорошо, но нельзя жить на перекрестке; если не стоять, — то придется выбрать дорогу. Опытные, взрослые люди, — между прочим, и «отцы» «Вечернего Времени», — это понимают. Недаром и захваливают «Гусляров»: авось, мол, нашу дорожку выберут, как вздумают двигаться. А нам очень на потребу.

Свобода выбора — главное дело. Я тоже думаю, что на перекрестке век стоять нельзя. Но хотелось бы знать, что молодая группа не выберет проторенных путей (особенно таких заезженных, как Ново-Вечерне-Временский). Лучше бы проложить свою, новую, дорогу к будущему. Трудно? Нет, не очень. Только надо, конечно, «уметь хотеть».

Война, литература, театр

Моя тема кажется почти бессмысленной; а преждевременна она — во всяком случае. Не странно ли видеть рядом: «искусство» — и «война», «литература» и «война», «театр» — и «война»? Искусство и война — два дела; оба слишком важны, оба всепоглощающи, поэтому несовместимы. Да и по существу они столь различны, что не могут не исключать друг друга.

Война — действие внутри-жизненное; искусство, будучи тоже действием, и отнюдь не вне-жизненным — действие непременно над-жизненное. Война — вся в настоящем, только в настоящем; искусство стремится соединить три времени воедино: прошлое, настоящее и будущее. (Я говорю об истинном искусстве, о том, которое так или иначе касается вечности.)

Писатель, художник, — все-таки сначала человек, а потом уж писатель. Как человек — он живет в настоящем; и когда настоящее делается грозным и требовательным, — человек отдается ему, отрывая от себя неприглядную, ненужную, мешающую часть души — ту, которая жила искусством. Этот разрыв, или, если душа слишком срослась с искусством, надрыв, — неизбежен.

Письма Флобера к Жорж Занд летом 1870 года ярко показывают нам, чем живет истинный писатель, большой художник, во время войны.

«Как! дорогой учитель, вы тоже в отчаянии, опечалены? Я так подавлен, что сам удивляюсь. Я погружаюсь в бесконечную меланхолию, несмотря на работу, несмотря на доброго “Святого Антония”, который должен бы развлечь меня...»

Письмо это написано в самом начале войны, Флобер еще пытается работать...

«Вот он человек в естественном состоянии. Стройте после этого теории... Что бы ни случилось, мы надолго отошли вспять. Войны рас, может быть, возникнут снова. Не пройдет и века, как увидят, что миллионы людей будут избивать друг друга»... «Бедные мы, образованные люди! Как далеко человечество от нашего

идеала, и наше величайшее заблуждение в том, что мы равняем человечество с собой и обращаемся с ним соответственно этому...»

«Я умираю от печали... Я считаю себя человеком конченным. Я хочу одного — издохнуть, чтобы быть спокойным».

«Я поступил санитаром в руанскую больницу... Меня влечет, меня зудит драться. Что это, воскресает ли кровь моих предков, начесов?»

«Я вновь принялся вчера за моего “Святого Антония”. Что же, надо себя настроить. Надо себя приучить к естественному состоянию человека, т. е. к злу».

«Несколько раз мне казалось, что я схожу с ума. Меня изводит безделье — и севотания! и болтовня!.. Ужасно в войне то, что делаешься злым. Мое сердце сейчас сухо, как камень, и, что бы ни случилось, в сущности останешься дураком... Такие удары по голове не остаются без последствий. Они потрясают умственные способности. На себя я смотрю как на человека конченого, опустошенного. От меня осталась только оболочка, только тень человека».

«Полагаю, что никого война не привела в такое отчаяние, как меня. Как только я не умер от ярости и горя! Я уподобился Рахили, я не хотел утешиться. Я проводил ночи, сидя в постели, я стонал, как умирающий. Я виню наш век в том, что он заставил меня испытать чувства какого-нибудь дикаря XII века. Какое варварство! Какой шаг назад!»

«Литература кажется мне ненужной и бесполезной. Буду ли я в состоянии когда-либо заняться ею? Ах, если б я мог бежать в страну, где не встречались бы военные мундиры, где не было бы слышно барабанного боя, где не говорилось бы об избияниях, где не требовалось бы быть гражданином. Но для бедных “м а н д а р и н о в” нет более места на земле!»

Во Флобере большой человек боролся со слишком большим художником. Разрыва не произошло, только надрыв; художник был ранен, но не убит. Вот выдержка из последнего письма.

«...Горечь обуяла меня. Ах, все потому, что я так страдал за эти десять месяцев, ужасно страдал — до безумия, готов был лишиться себя жизни! Между тем я вернулся к работе; я стараюсь опьяниться чернилами, как иные опьяняются водкой...»

Если мы обратимся к письмам Э. Гонкура, того же периода, — мы найдем их подобными. Не столь значительными и сильными, может быть, но ведь Гонкур и как человек, и как писатель — меньше, слабее Флобера.

Да, «бедным мандаринам» — бедным служителям искусства — «нет места на земле», когда земля горит огнем войны. Они «умирают от печали», «от безделья», чувствуют себя «опустошенными», переживают смертельные муки внутреннего разлада, — если, конечно, художник не успел обезчеловечиться. Но дело в том, что такой «обезчеловеченный» художник — уже вовсе и не художник. Палка о двух концах...

Писатель, который может, на время войны, спокойно уйти в свою норку, «в себя», с намерением «переждать» и затем спокойно начать «творить» с того же места, где его прервали, — вряд ли способен вообще дать что-нибудь ценное в области искусства.

Муки Флобера, его надрыв — я считаю самым законным и нормальным состоянием писателя во время войны. Самым естественным. Случается, однако, что «че-

ловеческое» побеждает художника. Писатель безболезненно исчез, под грозным натиском настоящего остался только «человек». И это тоже естественно, тоже благо. Мы знаем многих писателей, так или иначе отдавших себя войне. И поглощенных ею всецело. Умер ли в них талант, или спит — не нам решать. Во всяком случае, сейчас — они только люди, а не писатели. Когда жизнь делается сама громадным и тяжким делом, выключаящим личное, особенно художественное, творчество (а такую она делается во время войны), — можно т о л ь к о жить, или можно мучиться, как Флобер; страданием искупать грех своего пребывания в пустоте, м е ж д у жизнью и творчеством, — ни там, ни здесь.

Анатоль Франс, это блестящий художник, тонкий скептик нашего времени — тоже почувствовал необходимость выбора; вспомним его недавнее письмо: «Мои писания бесполезны... сделайте меня солдатом». Старика солдатом не сделали, — не по его вине, во всяком случае. Но он совершенно так же ничего не пишет сейчас, как не писал бы, если бы надел мундир и отправился сторожить какой-нибудь обоз.

Я понимаю, что Флобер, не будучи в силах отказаться от искусства, мечась между жизнью и творчеством, — от жизни бросался именно к «Святому Антонию»; он искал з а б в е н ь я в искусстве; он не старался как-нибудь слепить вместе два разделенных во времени дела.

Можно ли себе представить, что тот же Флобер стал писать во время война роман из военной жизни или вздумал ставить батальную пьесу (будь он драматургом и останься Париж цел)? Как-то странно даже подумать это. «Святой Антоний» — да, в те мгновенья, когда он слишком уставал от бесплодных страданий, когда он должен был «опьяняться чернилами, как водкой». Но для него действительность и ее ужас — война — были слишком велики, и слишком цельно и велико искусство, с другой стороны, чтобы он помыслил самовольно и механически сцепить — разъединенное ударом жизни.

Каждый раз, когда мы, современные писатели, пишем стихотворенье, «художественный» очерк или пьесу «на тему дня» — мы только даем лишнюю расписку, что мы не Флоберы. И даже не Гонкуры. И даже не Анатоли Франсы. Это не искусство, потому что н е м о ж е т быть искусством (кроме таланта художественному производству нужны еще многие условия, чтобы родиться) — но это и не жизнь, ибо это претензия на искусство. Это что-то среднее, механическое, не имеющее бытия. В самом деле: разве не меркнет любой «современный» рассказ любого, самого талантливого, современного автора — перед безграмотным солдатским письмом? Нельзя выдумывать «под жизнь» в те дни, когда сама жизнь говорит, кричит оглушающе громко.

Не серая обывательская толпа, конечно, но настоящий человек-читатель (а таких читателей все больше) — очень чуток. Он жадно слушает голос жизни, ее непосредственные, простые слова, их понимает, их воспринимает... А если явилась усталость, физическая жажда отдыха, — он, на это краткое мгновенье, разрешит себе открыть томик Пушкина, возьмет того же «Святого Антония» Флобера, но наши «военные» рассказы он читать не будет, и в театр на батальную пьесу не отправится.

Я говорю только об искусстве, только о х у д о ж е с т в е н н о м творчестве, — красочном, звуковом или словесном; работа мысли, слова разума, трезвость

убеждений — литература в широком понятии — нужна всегда, и теперь даже больше, чем всегда. А что положение чистого, образного искусства и художников (этих «бедных мандаринов») во время войны именно таково, каким я его определяю, — это кажется мне истиной бесспорной, слишком известной, почти не нуждающейся в доказательствах.

Не может солдат (будь он хоть сам Достоевский), идя в атаку, — описывать психологию солдата, идущего в атаку. А сейчас мы все — солдаты, каким-то образом, идем в атаку. Солдаты — или мученики; но и в последнем случае мы не пишем, а «просиживаем ночи на постели и стонем от горя».

Вот потому-то я и думаю, что говорить о литературе дня, о том, что наши художники «творят» для печати и для сцены во время войны, в связи с войной, — по меньшей мере бесполезно. Ведь это же не искусство, а лишь материал, недостаточно сырой — и недостаточно обработанный. Нечего себя обманывать: громадное большинство из сегодняшних «произведений искусства» очень скоро канет в Лету. Для искусства есть свои законы; когда оно их не исполняет, то перестает быть искусством. И подчиняясь настоящему, только настоящему, — искусство как раз нарушает один из своих вечных законов.

Еще труднее говорить о том, что будет с литературой после войны, как и в какую сторону может война ее направить. Мы и вообще-то ничего не знаем о путях искусства; рациональных оснований для суда нет, пророчества всегда оказывались ложными. Гадать же, каково будет влияние войны на литературу — особенно бесплодно. До сих пор мы видели одно: никакая война н и к а к не влияла на искусство. Это очень объяснимо. В войне, именно в войне, уже нет и не может быть для современного европейского человечества, а тем более для верхов его, н и к а к о й н о в о й и д е и. Война, сама по себе, уже рассматривается нами и воспринимается как возвращение к историческому прошлому. Можно бы сказать, что война уже не может «растить душу», хотя и способна вскрывать ее древние, стихийные глубины.

Это характерное свойство современной войны отличает ее от других катастрофических мировых явлений. Но, конечно, война, потрясая и разрушая жизнь — меняет ее; и если меняются глубоко все формы и условия жизни — меняется и душа человеческая. Из нее, измененной, может вырасти и новое искусство. Какое? Мы не знаем и не беремся определять. Ведь мы не знаем, какие изменения форм и условий жизни нас ждут после войны. Пока — мы знаем только войну.

Однако, учитывая возможность этих общих перемен, то есть косвенного влияния войны на искусство, и литературу в частности, — скажу, что движение литературы, прерванное войной, может возобновиться вовсе не с того места, где было прервано. Надо ведь признать, что пути и рост общеевропейской литературы за последние годы не были особенно ярки и ясны. Не говорю об отдельных вспыхивающих талантах и о поднятии среднего культурного уровня; но в росте, в движении, чувствовалась какая-то заминка, топтанье на месте, или же частные отклонения, приводящие к срыву. Интересно отметить «футуризм» — европейский, конечно, — хотя это движение и не может называться чисто литературным.

В некотором роде футуристы были действительно провозвестниками будущего, и даже очень близкого будущего: а именно — времени, которое уже стало настоящим.

«Футуристов» больше нет не потому, что они — «исполнились», как исполняются «времена и сроки». Лозунги их воплотились. И одно меня удивляет: зародились футуристы в Италии, а «исполнились» — в Германии. Да, в Германии. Три главные лозунга футуристов, по манифесту Маринетти, таковы: «будем разрушать все древние памятники искусства» (например, венецианские дворцы и храмы), «будем насиловать женщин» (любовь — сантиментальность) и, наконец, — «да здравствует война!». Не странно ли читать это т е п е р ь, присутствуя при столь совершенном и быстром воплощении «идеалов», хотя эти идеалы воплотились и не там, где были впервые указаны, и не те их воплотили, кто провозгласил? Вероятно, Германии просто не нужны были слова: в ней назревали соответственные дела. А там, где, к счастью, не оказалось благоприятной почвы, — слова остались словами.

Когда в прошлом году явился Маринетти с этими самыми лозунгами завоевывать Россию, — наши добрые, домашние «футуристы», да и вообще добрые люди, побежали слушать его с открытыми ртами; но главного они просто не заметили. Добрые люди благодушно посмеивались, а доморощенные футуристы наши, тоже не заметив главного (как слишком несродного нам), — остались на своих, уже выбранных, путях. Путей этих было два, оба кончающие собственно искусство; но таково уж свойство русской души — все доводит до предела, до конца, «до самого последнего кончика». Эти два пути очень ярко и доказательно были подчеркнуты, определены в свое время К. Чуковским (см. его последнюю книгу литературных очерков). Одна половина футуристов стала украшать и умножать свою конфектную изломанность, очень невинную, другая, перескочив через слова, дошла до нечленораздельных звуков, стала на четвереньки и устремилась... Куда? неизвестно, но кажется, чуть ли не в «леса», чуть ли не «спасаться». Странно, — однако, логично; и, главное, ужасно по-русски, и тоже невинно.

Футуризм наш, таким образом, был просто один из литературных срывов. Вряд ли дал бы он из себя живые побеги, даже не случись войны. Но и главная река нашей литературы в последнее время стала мелеть. Это бывает, когда заминается сама жизнь, деревенеют ее формы. Свежее, свободное дыхание ж и з н и необходимо для искусства. В медленно остывающей атмосфере потихоньку гаснет и огонь искусства. Как хороши заключительные строки известного восьмистишия Полонского:

Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена — свобода!

Огонь все падал, все падал в нашей русской литературе последних лет. Были и таланты, была и прекрасная, действительно прекрасная «искусность», но огонь падал, и очаг русской литературы постепенно разрушался. Писатель превращался в «описателя», описывал — все равно что, все равно для кого, лишь бы тонко и красиво описать. И большинство достигало этой красоты и тонкости. Но ни у кого не было нитки, чтобы снизить жемчужины в ожерелье, и они, сверкнув, падали в пыль, терялись.

Не ради упрека писателям говорю я это, рассказываю о бывшем, и отнюдь также не ради приветствия войне, которая сразу прекратила бывшее, залила последний огонь. Нет виноватых, — все виноваты; такова история. Война не могла не прервать

течения искусства, не могла не превратить «мандаринов»-писателей одних — в солдат, других — в мучеников. Бессильна она и родить из себя самой, непосредственно, какое бы то ни было новое искусство. Но война может повести к разрушению прежних окаменелых форм жизни, чтобы на свежеразрыхленной новой земле взошли новые, свежие цветы.

К этим цветам, к этим возможностям, мы и должны стремиться.

Скажите прямо!

Очень интересна последняя, декабрьская, книжка «Русской Мысли». Она стоит пространного обсуждения, но пока мы хотим отметить, в нескольких строках, самое примечательное. Это примечательное — собрание статей, лекций, публичных чтений той группы нео-славянофилов (?), которую мы кратко привыкли называть группой «москвичей». Ничего не определяет это название, но тем оно и хорошо. По совести, назвать «москвичей» славянофилами нельзя, не вполне точно; национал-либералами — тоже; «славянофильствующими либерало-националистами» скорее, но уж очень это длинно и в конце концов смутно. Между тем достаточно сказать «москвичи» и назвать хоть одного из них, любого, — тотчас понятно, о ком идет речь; и за первым именем — С.И. Булгакова, что ли, — встанут в памяти другие — Е. Трубецкой, Эрн, Вяч. Иванов, Рачинский и т. д. — даже вспомнится кстати П. Струве, хоть он и не «москвич».

Они — все разные; если бы даже и не подчеркивали сами, что разные, никто бы в этом не усомнился; однако внутренняя, не сразу определяемая связь их, общность, так значительна, что разность порою отходит на второй план. У них одинаковый стержень, и только нитки, наглухо обматывающие стержень, разных цветов.

Кроме того, у одних больше ниток, не скоро доберешься до стержня, у других он сквозит.

Статьи, о которых идет речь, все написаны на одну и ту же тему — о текущих событиях. Авторы говорят разным языком, подходят к событиям как будто с разных сторон. Разные разматываются нитки. Голубые, розовые, золотые... шелковые, бумажные... И вдруг мелькнет деревянная белизна стержня, у всех одинаковая: и у неподвижно-трезвого Е. Трубецкого, и у хладнокровно-увлекающегося В. Эрна, и у старчески-стремительного, пылкого Рачинского, и у кудреватого, ни пред какими большими буквами не останавливающегося Вячеслава Иванова, нашего «иеро-политика» (не я, а один наивный поклонник недавно окрестил его так). Скажу больше: даже в заключительной статье П. Струве, написанной внушительно (он всегда внушителен, говорит ли об экономике, империализме или «Святой Руси»), — та же подозрительная белизность мелькает, хотя П. Струве держит палку за другой конец.

Что же такое этот стержень, эта палка, эта связь? Может быть — религия? Все они — люди религиозные, не естественно ли, что, и с разных сторон подходя к событиям, они все будут оценивать их с религиозной точки зрения? Да, это так; а все же сказать «религия» — сказать слишком мало. И само слово чересчур общее, и палка длиннее. Она одна, — поэтому П. Струве, начиная со своего конца, доходит-таки до «Святой Руси», хотя мы все знаем, как мало дела уважаемому профессору до чьей

бы то ни было святости. По этому же самому, с противоположного конца идя, доходят и «москвичи» — Эрн, Булгаков и другие — до Струве. Палка одна...

Тут дело не в религии «вообще», а следовательно, и не только в религии. С общерелигиозной точки зрения Франк, например, в своем спокойно-объективном, «исключающем все партийные, публицистические и философские споры» возражении называет построения «москвичей» «кошунственными» (стр. 129, «Р. М.», декабрь). Прав или не прав Франк — мы в это входить не станем сейчас, потому что мы вообще не судим, а только отмечаем и исследуем.

Определить же самую суть, стержень, на котором держатся построения «москвичей», можно, лишь взяв этот стержень в обнаженном и цельном виде. Именно таков он у последнего «москвича» — Сергея Соловьева. Соловьева нет в «Русск. М.», его не было на знаменитом собрании «Московского Р.Ф. О-ва», где прочтены были речи остальных «москвичей». Но он читал в других местах, он выпустил брошюру «К войне с Германией», его взгляды кристально чисты; за эту чистоту, за суровую честность слов, за то, что главного стержня он не обматывает никакими индивидуально-цветными нитками, — за это и недолюбливают его, и сторонятся от него, гибкие, слегка трусливые «москвичи».

С. Соловьев в высшей степени честен перед самим собой, он презирает всякие разматывания, наматывания, заматывания, всякое влияние, всякое либеральничанье, — словом, всякое приспособление к чему-нибудь, потакание, попустительство ради личных настроений, свойств, склонностей и вкусов. То, что он говорит, — стройно, цельно и сильно, хотя очень старо и всем известно. В цельности всегда своя сила.

Соловьев берег веру, церковь православную (во всей ее суровой неизменяемой полноте), Белого Царя (опять во всей православной полноте) и Святую, именно Святую Русь, как единую «наследницу Византии, которая была столбом правильного вероучения». Из этих трех открытых приятий с волшебной последовательностью вытекают все положения С. Соловьева, все до одного его слова. Он с правом говорит и о днях Дм, Донского, и о «гробах Сергея и Гермогена», и о Царь-граде, и о верховной мощи и призвании России, с правом пишет «На взятие Львова»:

Ты все ждал, чтоб из-за Збручи
Подошли к тебе, как тучи,
Рати Белого Царя...

да соберется весь русский народ

Под стяг державный
Звоном Пасхи православной...

И конечно, «Вильгельм это — Навуходоносор», и конечно — «нам нельзя было дышать от немцев, мы не могли молиться... созидать свою культуру, так роскошно расцветшую в XVII столетии», и конечно — «теперь переламывается русская история»...

Повторяю, логически-строгая и чистая красота построений Соловьева принуждает меня поставить его головой выше всех других «москвичей». Булгаков в конце своих «Русских Дум» приходит к тем же точно словам-выводам, как и Соловьев, точь-в-точь: «Россия — сверхкультура и сверхгосударственность, апокалиптическая

теократия Белого Царя...» и т. п., однако соловьевских предпосылок он не делает, а лепечет вначале что-то о капитализме. Скромные предостережения от «излишнего национализма» у Трубецкого, путанные «хорошие слова» Рачинского, таинственные глаголы Вяч. Иванова о «таинстве», о «вселенском деле» войны, все это — нитки разноцветные, мазанье, попустительство, между тем суть дела сама по себе такова, что требует строгости, определенности, суровой обнаженности от всяких чуждых украшений. Достоевский ничего не замазывал, Конст. Леонтьев не болтал о национал-либерализме, а шел до конца. Не сравнивая значения личностей, скажу, что и Соловьев — один — идет до конца так же смело, так же праведно.

Что касается П.Б. Струве, то я, пожалуй, ошибся, сказав, что он начинает с другого конца. С другой стороны, но не с конца, а со середины. И соответственно останавливается, далее «Святой Руси» (в очень поверхностном понятии) не идет. Конечно, и это для него много. Мы слишком хорошо помним, что П.Б. Струве если и признает религию, то как дело чисто индивидуальное, *privat sache*. Церковь же признает он лишь «обывательскую», по его выражению. Теперь он дошел до святости. Но не отвернется ли Соловьев... от струвьевской «Святой Руси», «правду» которой Струве хочет подпирать «силой» Всероссийской Империи? Струве-то искренне думает, что «правда» может «возобладать», только если внедрить ее «силой», но не один Соловьев, пожалуй, и Булгаков остановится пред таким «идеалом». А Струве именно как идеал святости предлагает нам взаимопомощь «правды» и «силы».

Если мы выделим Струве, вообще представителя срединности, то группа «москвичей», о статьях которых мы говорим, представится нам очень ясно: это — люди, разнообразно одаренные, разные по личным склонностям, слабостям, биографическим привычкам, но сплоченные единостью ясной и, по существу, не терпящей компромиссов идеологии. Они с малодушием (невольным?) прячут ее, покрывая словами — эстетическими, этическими, либеральными, какие кому ближе. Но слова отстают от нее; нет-нет — она мелькнет, только искаженная, обессиленная — бездейственная.

Соловьев обнажил ее первичные устои, взял ее во всей полноте, со всеми концами и началами. Он за нее отвечает.

А «москвичи»? Пока они не соберутся с силами и с духом, не примут ответственности за собственную идеологию, они так и останутся просто «москвичами», просто людьми, по-разному талантливыми, которые что-то говорят — не то разное, не то общее; чего-то хотят — не то хорошего, не то худого; а может быть и ничего не хотят, и все это — так, одни безответственные словеса «под настроением».

Грядущее

Если бы «пресса» благосклонно встретила «Зеленое Кольцо» и ее участников, новую русскую молодежь, — мне пришлось бы задуматься. Уж не ошибаюсь ли я вместе с моими героями? Они говорят: «Старые нас не понимают, а мы их поймем и всегда простим». И вдруг бы эти «старые», то есть как раз те, кто пишет в газетах, — вдруг бы они — «поняли?» Меня такое предположение несколько смущало. Но оно не оправдалось. Оправдалось в полноте утверждение «новых» молодых: ста-

рые и не понимают их, и не прощают. Ясно видит Зеленое Кольцо тех, к кому имеет силу отнестись «с милосердием».

Правила нет без исключений. К исключениям я вернусь, когда вернусь к «прессе» вообще (т. е. к мнениям «старых»). А пока — вот что: худа еще нет для самих «старых», если они «не понимают». Нет вины, во всяком случае. Но непонимание важности вопросов, которые завиты в смене времен и поколений, косное невнимание к идущему, растущему, к будущему, — вот это уж опасно. Пребывших в ограниченной самоуспокоенности жизнь рано или поздно вытолкнет вон — и уже без всякого «милосердия».

Автор статьи «Спор поколений» (см. «День». 22 февр.) — не повинен в этом грехе — в невнимании к самой теме. Поэтому с ним можно говорить. На вопросы его следует отвечать, хотя уже постановка некоторых показывает, что «новизну» новой молодежи он не понимает так же, как другие.

Только раньше два слова к «совсем ничего не понимающим»: отдав раз навсегда мою пьесу «Зеленое Кольцо» на литературный и любой суд всякого встречного и поперечного, я не подумаю защищать ее. Говоря о ней, поясняя кое-что, я буду ею пользоваться как материалом, конкретной зацепкой для спора. Не интересует меня также препирательство о том, есть ли действительно вот такая молодежь, или нет. Кому случилось видеть — будет говорить «да, есть», кому не случилось — будет отрицать. И никто никого не убедит. Дело не этим решается. Решается оно вот чем: утверждаю ли я, хочу ли я, должна ли быть сейчас такая молодежь? Или я не хочу, думаю, что не должна?

Автор статьи «Спор поколений» говорит определенно: и не хочу, и не должна (между прочим, существование ее он признает). Мы уже заметили, что самой-то молодежи Зеленого Кольца он тоже «не понимает»: но я допущу, что мог бы понять, если бы отвлекся от крепко зацепившего его вопроса о «старых». Напрасно автор хочет их защитить: никто их не обижает, ни я, ни Зеленое Кольцо. Они остаются на своем месте, и все их заслуги оценены по достоинству — в истории. Напрасно также доказывать, что не всегда все молодые годами молоды и все старые — стары. На это заранее отвечено в «Зеленом Кольце», устами одного из членов общества: «Я знаю, “Зеленое Кольцо” не по возрасту цифровому, а по складу, главное...» Если же чаще молоды фактически молодые — это и не плохо, и не удивительно. Мой совопросник указывает, что последнее десятилетие дало нам молодых, которые были старше старших: всяких «далькрозистов, акмеистов, аполлонистов, тангистов... кривляющуюся душу реакции». Совершенно справедливо. Но и на это отвечено в «Зеленом Кольце»: «Те молодые, что старше нас, — у нас тоже старые. Они в щель истории попали. Уже ничем не интересуются, или просто поживают, или убивают себя. Самые старые, папы и мамы, лучше. Из них можно брать нужное, как из книг. А эти, молодые-старые, — так пройдут. С ними мы и не столкнемся!» Конечно, «папы и мамы» лучше. Но хвалить их за то, что они жаловались на своих молодых старичков, охали да бранили их, — решительно не стоит. Ну и бранили. Бранью никого не переделаешь. И уж будто сами несколько не виноваты, что такая поросль вокруг них пошла? Не на делании ли их же рук — или, вернее, на неделании, — вот эта молодежь поднялась? Закваска-то, пусть малая, — ихняя же, именно старшего поколения;

и не от лучшей, ценной его стороны, а от худшей, косной, от последнего по времени периода жизни русских «старших» — отродились вот эти «старички» — «далькрозисты, футуристы, акмеисты и самоубийцы». Так что хвалиться — «мы, мол, им не рады и сами осуждаем», — нечего. Не на кого жаловаться.

Прерыв, который инстинктивно утверждает «новая» молодежь, — исторически правилен и неизбежен: «мы хотим сохранить себя. Пусть они (старшие) нам ничего не навязывают. Мы сами возьмем от них нужное». Защитник «старых» понял это отношение молодежи как «утилитарное». Ах, они, молодые, хотят «использовать» нас? Мы не желаем! Мы, мол, готовы давать им от наших щедрот, что сами найдем благопотребным; пусть попросят, пусть сядут на пол кружком у моего кресла. И я научу, я даже с любовью научу, а они пусть с верой и любовью принимают. А самим брать, да еще не сидя вокруг кресла — нет-с! Мы не дадимся. Мы возмутимся.

Автор «Спора поколений» так и требует, чтобы «дядя Мика» в Зеленом Кольце — возмутился, когда подростки убеждают его помочь погибающей в жизненном конфликте девочке. А между тем «дети» отнеслись к этому своему другу только как к с а м и м с е б е. Убеждая дядю Мику, Сережа говорит: «дядя, как честный человек — я бы сам на ней женился, если бы на своих ногах стоял», т. е. если бы его действие могло помочь Фимочке. При этом Сережа чисто и нежно влюблен в другую. Но он весь в порыве именно «большой» любви, в желании помочь гибнущей сестре. Он сам и дядя Мика — для него равны. Который сделает? Тот, кто действительно поможет, вот и все.

Может быть, по-детски наивно и смешно придумали они эту «помощь». Может быть, завтра, когда по совету дяди Мики «вместе соберутся, хорошенько обсудят», — продумают они что-нибудь другое... «Это ли, другое ли, — мы тебе поможем! Так хотим, так любим, что уже непременно поможем!» «Верь, все будет хорошо».

И только исказив прямой смысл слов, можно утверждать, что «дядя Мика помялся и сразу согласился» на предложение детей. Этого фактически нет. Нет и наричатого «старчества» в образе дяди Мики, не было тени «старчества» и в глубоком исполнении роли г. Юрьевым, ни малейшего «кутанья в плед» — откуда плед? Дядя Мика «потерял вкус к жизни»... еще бы не потерять вкуса к старой жизни, если, как дядя Мика, «все понимаешь»? «Когда будет новая жизнь, — говорит Сережа, — все будет по-иному! Все по-иному!»

Именно оттого и не может возмутиться дядя Мика, что «понимает». Он понял главную «новизну» своих юных друзей: их повелительную жажду строить жизнь на взаимоотношениях свободных, равных, братских. То, что жило у «старших» словесно, что они знают, но не понимают, — у «младших» растет органически, изнутри. Им кажется, что «новая жизнь» создается лишь на этих устоях, и к новой жизни устремлена их живая, бурно-действенная воля. Не только друг к другу («по возрасту цифровому»), но и к «отцам» они готовы бы отнестись свободно, равно, по-братски; к дяде Мике так и относятся, потому что он «понимает»; а что же делать, если «непонимающие» отцы не готовы к свободе, если они хотят оставаться отцами прежде всего, хранителями старых основ жизни? Бороться? Да, но не бесплодными убеждениями и протестами, а волевым утверждением своего; непонимающих же отстранить твердо, без ненужной

грубости, «с милосердием». «В нашу жизнь мы им вмешиваться не дадим, — пусть, с Богом; в своей как хотят. Зачем отнимать последнее». Отцы держатся за право учительства, — дети хотят знания, а не учителей. Отцы стремятся охранять и продолжать, дети — начинать, созидать, не боясь, если в процессе творчества что-нибудь и разрушится: значит, подлежало разрушению. «Все дело — в выборе!» — и они хотят, выбирая, взять из старого все, что там не старое, а вечное.

Автор статьи «Спор поколений» напрасно писал о «споре» в связи с «Зеленым Кольцом». Как раз спора-то и нет у новых детей с отцами. Волевая работа устройства жизни на определенных началах и милосердное отстранение тех, кто, не понимая, мешает, — где же спор? Кто понял — тот уже не мешает, а помогает, по-братски, свободно, как дядя Мика. Ему, естественно, не надо и «милосердия».

Возвращаюсь к моему коренному вопросу. Что же, хотим мы или нет, чтобы в будущем человеческие отношения были свободные, братские, равные, утверждаем или отвергаем мы волю к воле и к знанию, должна или не должна быть у нас молодежь — Зеленого Кольца? Пусть ее сейчас нет, пусть она уже есть, вопрос не в том. Вопрос — хотим ли мы ее такой, зовем ли ее, приветствуем ли?

Если мой критик, защитник «отцов», скажет опять: «нет, не хотим, нет, не должна» — что ж, он обрекает себя на ту старую молодежь, которая сидит кружком около учительского кресла; а от настоящей, новой, ему придется-таки принять «милосердие», — по общему правилу.

Кстати, вспоминаю об исключениях из правила — сегодняшние «старые» не понимают сегодняшних «молодых». В малоизвестной мне газете была статья, автор которой с удивляющей тонкостью подчеркнул суть «Зеленого Кольца» и существо новой молодежи — его участников. В заключительной сцене, когда обнимаются трое, — мы верим, «мы вместе, все будет хорошо», — он даже увидел «символ юной, грядущей России». Я совершенно не знаю автора статьи, но раз он пишет в «Пет~~ербургских~~ Ведомостях», в газете, — нужно предположить, что он сам не из «Зеленого Кольца» и по «цифровому возрасту» к нему не подходит. А вот «по складу» вдруг подошел, — по крайней мере, в данном случае, — потому что «понял».

С глубокой радостью отмечаю, что действительно «поняли» и артисты, игравшие «молодых» «Зеленого Кольца», и Мейерхольд, ставивший пьесу, хотя им не по четырнадцати лет. Положим, никого туда не причислишь, к «старым», но даже «старых-молодых» не было на сцене, а именно та новая, радостная, грядущая сила, которая нас милосердно отстраняет, пока мы ее жестоко сердно не понимаем. Реальная «новая» молодежь, в зрительном зале, влеклась к Рошиной-Инсаровой, к Домашевой и Смоличу, как к собратьям, поверила им, поверила в них.

Увидела и в Юрьеве «понимающего все», нужного, близкого, старшего и равного — дядю Мику. Это я не гадаю и не мечтаю, просто говорю о факте. Чем поняли артисты «непонятную» молодежь — талантом или человеческой глубиной — все равно: поняли. Перевоплотились. И газетные «старые» естественно перестали их понимать. Что ж, старикам бояться нечего: как юность на сцене, так и юность в зрительном зале — в жизни, — отнесется к ним с «милосердием».

Равноценности

Очень опасен уклон статьи г. Тинякова (см. «Г<олос>Ж<изни>». № 8). Опасен и неверен, хотя исходит автор из верных положений, — о д в о й с т в е н н о с т и культуры. Я касался этого вопроса неоднократно («Голос Ж.», «День»). Да, понятие культуры — двусторонне. Да, лишь известная сгармонированность между культурой внутренней и внешней может назваться настоящей Культурой. Не совершенная гармония (ибо мир только идет к совершенству), но хотя бы связь, последовательное сцепление. Ведь когда человек идет, он, в сущности, падает, — то на левую, то на правую ногу. Но мы называем это не падением, а движением. Движение — вечно нарушаемое и вечно восстанавливаемое равновесие. Есть, однако, пределы, за которыми нарушенное равновесие не восстанавливается, движение оканчивается падением.

Все равно, в какую сторону упасть. Одинаково страшно. Переразвитие внешней культуры ведет к механике, к автоматизму — к падению; переразвитие стороны внутренней — к разъединению, к вымиранию, к одичанию — т. е. опять к падению.

У нас и у немцев — две разные, но р а в н ы е опасности. Перепроизводство внешней культуры у немцев, в ущерб внутренней (всякое ненормальное развитие одной стороны идет в ущерб другой, соответственно умалывает ее), грозит им механикой, разложением личности; наше переразвитие духовное, не гармонирующее с уровнем нашего внешнего развития, носит в себе ту же, обратную, нам равно страшную угрозу. А г. Тиняков предлагает нам следовать дальше как раз по этому, самому для нас опасному, уклону. И без того у нас есть Толстой; мы обязаны заслужить, оправдать этот великий Божий дар. Мало ли еще кто и что есть! Громадное крыло у нас выросло, на одном крыле не полетишь. Так же, опять совершенно так же, как не полетит Германия на своем одном крыле. И ей нужно заслужить, оправдать... не Круппа, — Крупп ничем не может быть оправдан, — но высокое развитие своей техники, науки, — всей своей п л о т и.

К вырождению ли духа ведет путь, или к вырождению плоти — на конце обоих одинаковая гибель. Допустим, что в Германии разлагается личность; а мы будем ли правее и счастливее, если у нас начнет разлагаться — общество?

«Христос и Эдиссон идут в разные стороны», — утверждает г. Тиняков. Сопоставление не из удачных, но все равно, мы берем не личность, а принципы. И тут я должен в сотый, в тысячный раз сказать: нет, они именно идут в одну сторону, вместе, неразрывно слитые в одном д в и ж е н и и.

Мало того: в Христе уже есть Эдиссон, и отречение от Эдиссона равносильно отречению от Христа.

Если мне скажут, что Будда и Эдиссон идут в разные стороны — о, под этим я подпишусь обеими руками. Но и пусть себе они идут в разные стороны. Я не участи Индии хочу моей России. И не боюсь, и верю: если она сейчас пойдет за Эдиссоном, как это ей нужно в данный момент истории, Христос не покинет ее и она не покинет Христа.

Зори грядущего

В последнее время в русском обществе начинает пробуждаться интерес к учащейся молодежи.

Вызывается ли этот интерес тем обстоятельством, что молодежь представляет еще не тронутый источник свежих сил, которые в данное время так нужны для России, или здесь кроется какая-нибудь другая причина, дело не в этом. Важно, что общество интересуется грядущим поколением.

З. Гиппиус посвятила молодежи даже целую пьесу. О пьесе говорили много, и мне думается, что интерес к пьесе обязан не исключительно известному имени автора, но и существует, помимо этого, благодаря теме, затронутой автором.

Я далек от мысли обсуждать идею пьесы, разбирать ее подробно. Это все уже делалось много раз. Я упомянул о пьесе только как о факте, который доказывает, что русскому обществу не безразлично, что думает и делает молодежь.

После того как из края в край нашего отечества прокатились воскликнутые кем-то в минуту глубокого духовного подъема слова: «Забудем распри и встанем, как один человек, на защиту родины», после этого русская молодежь как будто сомкнулась на время, почувствовала в себе одно сердце. Но такое единомыслие продолжалось недолго. Молодежь давно уже раздробилась на отдельные партии, смотрящие на жизнь с совершенно различных точек зрения. Эта рознь сказалась и теперь.

И не только, пожалуй, партийность мешает нам в наших общих созиданиях, но и наше духовное одиночество. Каждый из нас сам по себе, каждый из нас замкнулся, и если даже принадлежит к партии, то принадлежит к ней далеко не всецело.

Даже не замечается стремления сблизиться, породниться духовно.

Отчего же это так?

Отчего в молодежи происходит распад на особи?

Это распадение совершалось целые последние восемь лет.

Еще в 1906 году рухнуло товарищество, порвались связи между его представителями.

И вот поэтому-то нельзя задаваться вопросами:

«Что думает молодежь?»

«Что делает молодежь?»

Молодежь, как целое, ничего не думает и ничего не делает, хотя среди представителей молодежи с каждым днем, с каждым часом все больше и больше умных, серьезных людей.

«Так неужели же эти умные, серьезные люди не сознают, что распадение молодежи, кроме вреда, не принесет ничего ни ей самой, ни обществу?» — задаст, может быть, кто-нибудь вопрос.

Очень немногие сознают, — отвечу я, — но. если бы это сознавало и большинство, еще мало одного только сознания, нужно еще что-то другое, что бы захватило всех индивидуумов и создало бы из них единообразный класс.

Вспышка патриотизма в начале войны, как я уже указывал, именно собрала молодежь в одно целое, дала ей одну общую физиономию, но прошло несколько дней, если хотите — несколько недель, и у молодежи уже не стало ни общей души, ни

общего лица, опять стал каждый сам по себе, со своими мыслями, со своим одиночеством.

Очевидно, нужно еще более сильное средство, чтобы объединить прочно молодежь. Еще так недавно повсюду слышались вопли: «Что нам делать, чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить число самоубийств среди молодежи?»

Эта эпоха самоубийств была переломом в жизни русской молодежи.

Когда начались самоубийства, тогда, надо полагать, разорвались последние швы общего платья молодежи, наступил период одиноких душ и одинокой тоски. Гибли сотни молодых жизней в открывшейся пропасти одиночества, не имея ни собственной воли бороться с сомнениями одинокой души, ни нравственной товарищеской поддержки.

Более сильные натуры оставались жить, замыкались в себе — и в результате выросла под кличкой «молодежи» какая-то странная толпа молодых стариков.

Современную молодежь вряд ли можно изучить, вряд ли в ее среде можно классифицировать те явления, которые кажутся общими. Эти явления общи только на первый взгляд, и, вдумавшись в них, мы не заметим никакой внутренней связи.

Существует много студенческих кружков, но таких кружков, которые не требуют духовного единения: есть, например, кружки воздухоплавательные, спортивные, фотографические, есть кассы взаимопомощи, бюро труда. Но ведь эти кружки являются чисто специальными, вносящими в среду юношества только минутные общие интересы. Молодежь понимает, что Россия в данное время входит в новую фазу исторической жизни, понимает, что нужны сильные рабочие руки, — и работает, учится, но опять-таки не обща.

Наука не объединяет юношей духовно, она их объединяет только общим именем «учащейся молодежи».

Если вы прислушаетесь к разговорам среди учащихся, то, кроме незначительных общих мест, ничего не услышите: каждый старается оберегать неприкосновенным свой собственный духовный облик — и серьезных разговоров, беседы «по душам», что называется, не бывает.

Современное юношество слишком рано вступает в жизнь, слишком много и сильно переживает индивидуально, и единодушия в его среде поэтому быть не может.

Не нужно пытаться искусственно вызывать это единодушие: такие попытки были бы и безнадежны, и бесполезны, так как при всем старании вызвали бы единодушие только кажущееся, но не действительное.

Предоставьте молодежи жить своею собственною жизнью, той жизнью, которая установилась, которая только и может существовать в наше время.

От грядущего поколения надо ждать личностей, но не толпы.

Стадное чувство все более и более вырождается в среде молодежи, и вместе с этим становится все труднее и труднее объединить молодежь общей задачей.

Мы объединены жизнью в одном имени, в имени «люди». И этого достаточно. Пусть развиваются самостоятельные характеры, пусть глубоко сквозит в них индивидуальная оригинальность.

Если когда-нибудь войдет в жизнь великан мысли и если ему удастся поднять общество, то даже и здесь не будет стадности, и не будет ее потому, что люди созна-

тельно отнесутся к появлению гения, каждая личность по-своему, а не по шаблону, и так как люди будут объединены только именем, то и не утратят своего «я».

Можно с уверенностью сказать, что в то время гений будет играть роль личности не подчиняющей, а вдохновляющей. Какое из этих двух понятий более ценно для жизни, покажет будущее.

Так пусть же развитие юношества идет так, как оно идет. Будем надеяться и ждать появления новых людей с глубоко оригинальной, самостоятельно выстрадавшейся, выбившейся из тенет повседневности душой; будем ждать, когда эти люди возьмут молот каменщика, чтобы построить новый храм верно понятым заветам жизни.

Зори ли? Грядущего ли?

Антон Крайний

Мы печатаем выше помещенную заметку нашего молодого сотрудника не столько ради возражений, которые можно на нее сделать, сколько ради ее характерности.

Возразить очень легко. Тем легче, что автор сам путается и противоречит себе. Утверждая сначала, что результат «распадения молодежи на особи» — тот, что «с каждым часом все больше умных и серьезных людей», через несколько слов отмечает — как результат того же «замыкания в себе» — «странную толпу молодых стариков».

Не менее легко показать необоснованность дальнейших утверждений автора. Защищая индивидуализм «до конца», он и будущее рисует себе не иначе, как в тех же формах: «войдет в жизнь великан мысли, гений...» Но почему «можно с уверенностью сказать; что этот гений будет играть роль личности не подчиняющей, а вдохновляющей»? Напротив, «с уверенностью можно сказать» (и это уже с серьезными историческими и другими основаниями), что подобная «единая личность» будет именно подчиняющей или даже миропорабощающей, по самому своему принципу единства. Ведь это — старая, даже древняя идея. Идея Мессии, идея Антихриста. Как идея мессианства, она дает пути к разрешению антиномии между понятиями «все» и «один». Дает потому, что человеческую личность «одного» не ограничивает человеческим. Напротив, идея Антихриста замыкает все пути и выходы, углубляет антиномию, подчиняет «всех» людей «одному» человеку. В нашу задачу не входит дальнейшее развитие этих положений, столь известных и бесспорных хотя бы после Достоевского. Возвратимся к характерности заметки г. Ястребова, оставив ее противоречивость и философскую несостоятельность в стороне.

Прежде всего заметка любопытна своей обыкновенностью. Защита индивидуализма, разобщенности, самости до такой степени обыкновенна, так повсеместна и обыденна, что мы должны к этому факту известным образом отнестись. Именно к факту обыденности. Индивидуализм демократизируется. Ибсен, Ницше, Достоевский говорили с вершин, откуда они увидели новый горизонт. Их голоса едва долетали до «всех», — слишком они были далеко назад. Но время, история продвинула «всех» к ним, человечество встретилось с ними, настигло их — или их тени, — услышало их голоса — или живое эхо голосов, — потому что ведь неиз-

вестно, что теперь говорили бы Ибсен и Достоевский, не ушли ли бы на другие, следующие, вершины?

Но как раз с ними, прежними, тогдашними, толпа сейчас разговаривает, слушает их, понимает, и... еще не дослушала, еще недопоняла. А понять до конца, вобрать в себя, как свое, надо. Прежде чем этого не случится, нет и движения дальше, нельзя даже увидеть, что это — не последняя ступень, а один из этапов.

Кончился ли процесс демократизации индивидуализма? Совершенно определенно следует ответить: нет, не кончился. Дифференциация, распыление, разобщение, — эти внешние признаки, сопровождающие внутреннее искание осознать и утвердить кучный принцип «Личности», — только еще разрастаются, ширятся. Ибсен и Достоевский недослушаны, а потому всеобщее внимание праведно направлено на них, вернее — на ихнее, на вопрос о «Личности».

За большим столом только что подали второе блюдо, скажем мы, если позволено прозаическое сравнение. И было бы бесполезно вырывать тарелки с недоеденными кусками во имя того, что есть третье блюдо. Суп окончен, к нему не вернуться за большим столом. Суп — это тот первичный коллектив, который с таким удовольствием называют гости большого стола «стадностью». Совершенно естественно со стороны прозелитов индивидуализма трусить возврата, чувствовать всякую общность, всякую возможность соединения людей как «стадность». Только что открывшие, что есть «вопрос о Личности», писатели из «Северного Гусяря» (не все, а гг. Туфанов, Ковш, Нелли) «утверждают индивидуализм» с тем же страхом или презрением ко всякой общности («стадности»), как стадо других прозелитов.

«Бедные мы, сознательные люди! — писал Флобер, один из вкусивших от второго блюда во времена, когда за большим столом жадно ели суп.— Как далеко человечество от нас, и наше величайшее заблуждение в том, что мы равняем человечество с собой и обращаемся с ним соответственно этому...»

Да, заблуждение; и попытки демократизовать истину, когда еще не окончился процесс демократизации предыдущей, бесплодны, самонадеянны, легко ожесточают и ведут к нетерпимости. Надо «для всех быть всем», но помнить, что «спасешь только некоторых», по мудрому слову Павла.

Павлов уже нет, мудрость редка и трудна, а главное — неуследимы времена, неуловимы переходы, и почти нельзя не ошибаться при оценке степени развития того или другого исторического движения. Тут ведь надо еще учитывать, что в какой-то мере движение ускоряется, то есть, попросту говоря, на открытие истины требуется больше времени, чем на усвоение уже открытой. Целые отдельные жизни отдавались на то, что сегодня гимназист выучивает между прочим. Логически, — да и фактически, — опыт предыдущих поколений служит последующим для опоры, как данное. Но в живой жизни это происходит не так просто и не так ясно, как нам хотелось бы; отсюда и ошибки, и «заблуждения», и нетерпимость.

С особенной горечью отмечаешь, что и молодежь, т. е. последующее поколение, не пользуется сейчас опытом, уже пережитым, не опирается на него, а сама сызнова начинает его проделывать, сливаясь с общей массой в процесс индивидуализации. Русская молодежь девяностых годов была настоящей молодой молодежью. Она мучилась, боролась, осознавала проблему «личности», утверждала, ковала «личность»,

доходила в борьбе до неизбежных крайностей, с болью отрываясь от «стадности». Сколько слабых погибло на этой переправе, не достигнув другого берега... Все это не в закоулке; слава богу, даже не в одной России... И вдруг, в пятнадцатом году нового века, «новая» русская молодежь заговорила, как о чем-то новом (не заговорила — залепетала), о «я» и «не-я», о правах личности и грехе стадности, о грядущем гении, о «познании мира путем включения его в свое эго» (это — «новая» мечта г. Ковша из «Гусяря»). И слова какие-то все старенькие-престаренькие, знакомые со времен юности Бальмонта: «солнечно-юная», «творчески-изменчивая, стремительно-дерзкая» мудрость и т. п.

Если не всегда хватает терпения и терпимости наблюдать долгий процесс демократизации какой-нибудь идеи, медленного ее просачивания в широкие круги, то убеждаться, что молодежь наша не пошла вперед, а лишь разжевывает жеваное, особенно огорчительно. Не хочется верить. Да нужно ли верить? Смена поколений — тоже вещь неуследимая. И, пожалуй, наша сегодняшняя молодежь, которую мы считали молодежью, — вовсе и не молодежь, а «так». Так, масса «вообще», среди которой, по медленно-верному закону, происходит своим чередом впитывание очередной идеи. А наши действительные будущие... они, пожалуй, сейчас еще не подросли, еще учатся, читают и работают. Одно несомненно: когда они заговорят о своих новых мечтаниях, это не будет ни «новая мечта» г. Ковша о «включении мира в свое эго», ни надежда г. Ястребова на «грядущую личность гения», ни — тем более! — желание «превратить жизнь в грезо-фарс». Им в голову не придет трусить пред «стадностью»: слишком безвозвратно она побеждена. С ней они и не столкнутся. А вот с «индивидуализмом», т. е. с идеей «личности», самое себя кончающей, будет в свое время борьба, и о новом, не «стадном» только, но корнями уходящем в историю, человеческом общении, единении, эти поистине молодые, может быть, что-нибудь и скажут.

Земля и камень*

Пред нами худошавый девятнадцатилетний парень, желтоволосый и скромный, с веселыми глазами. Он приехал из Рязанской губернии в «Питер» недели две тому назад, прямо с вокзала отправился к Блоку, — думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес.

В Питере ему все были незнакомы, только что раньше «стишки посылал». Теперь сам их привез, сколько было, и принялся раздавать «просящим», а просящих оказалось порядочно, потому что наши утонченно-утомленные литераторы знают, где раки зимуют, поняли, что новый рязанский поэт — действительно поэт, а у многих есть даже особенное влечение к стилю подлинной «земляной» поэзии. Девятнадцатилетний С. Есенин заставляет вспомнить Н. Клюева, тоже молодого поэта «из народа», тоже очень талантливого, хотя стихи их разны. Есенин весь — веселее, у него тон голоса другой, и сближает их разве только вот что: оба находят свои, свежие, первые и верные слова для передачи того, что видят. В стихах Есенина пленяет какая-то «сканность» слов, слитость звука и значения, которая дает ощущение простоты. Если

* Стихотворения С.А. Есенина см. на след. странице (примеч. ред. журнала «Голос жизни»).

мы больше и чаще смотрим на слова (в книгах), чем слышим их звуки, — мастерство стиха приходит после долгой работы; трудно освободиться от «лишних» слов. Тут же мастерство как будто данное: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть, точные, друг друга определяющие. Важен, конечно, талант; но я сейчас не говорю о личном таланте; замечательно, что при таком отсутствии прямой, непосредственной связи с литературой, при такой разностильности, Есенин — настоящий современный поэт. Он, сам того не подозревая, — уже «описатель», он, прежде всего, «видит», и это — не его личное свойство, а общее свойство современных словесников-поэтов, как у Фета и Кольцова было общее свойство сначала «чувствовать», а не видеть.

Впрочем это требует долгих доказательств, сложных определений и параллелей. И нет у нас еще развившихся современных народных талантов. Есенин так молод, а время так быстро, что он может еще завянуть на корню. Пока невиданный Питер не слишком удивил и пленил его. Любопытно; однако не очень. Пошел и на «поэзо-концерт». «Что ж, понравились футуристы?» — «Нет; стихи есть хо-ро-шие, а только что ж все кобениться». И люди в Питере, говорит, — ничего, хорошие, да какие-то «не соленые».

Рядом с Есениным, — за тем же столом, сидел пред нами другой юный поэт, не «земляной» — «каменный». Современники, — они все-таки немножко не понимали друг друга. Есенин не знает «языков», а потому ему невдомек, что значит «манто», «ландолэ», «грезо-фарс» и т. д., а коллега не понимает ни «дежки», ни «купыря», и скорее до «экарлатной» зари додумается, чем до «маковой». Но оба хотят богатства слов. И оба имеют. Только у «каменного» поэта своего нехватка, и приходится в чужих странах прикупать, а поэт «земляной» приехал с собственным русским богатством из Рязанской губернии, и лишний раз стало ясно, как обильна земля наша; всего у нас вдоволь, а если кому не хватает, если в каменных столицах всё, вплоть до слов, — покупное, так это потому, что мы с нашими богатствами сладить не умеем. Где густо, а где пусто.

Раненая муза

Серьезная вещь — война. Вы думаете, ранят только на фронте? И только людей? Нет, далеко стреляют гаубицы. Мы знаем, как изранили, исковеркали первые выстрелы душу «лучших» немцев. Слава богу, наши души уцелели. Но зато оказались подстреленными музы наших «лучших» поэтов, и раны их до сих пор не исцелены. Большая муза! Как это горько, особенно если ее, крылатую и сильную, слишком любил! Утешаешься, что раны не смертельны, сильный не может не выздороветь в конце концов, но тянется болезнь, и тяжело смотреть.

Я не могу, да и не хочу говорить о всех раненых музах. Их слишком много, целый лазарет. Раны более или менее однородны, вероятно, ибо картина болезни почти у всех одинакова. Самые своесловные музы, обуянные горячкой, забредили словами одинаковыми, общими; их оказалось довольно мало, прошлое все повторяют. А свои слова забыты.

Эти общие, возвращающиеся, слова больных муз легко было бы выписать в двух строках. Но зачем? Они давно всем известны, от «наглого тевтона» до наших «доблест-

ных полков». Пройду я мимо них, и мимо раненой музы Леонида Андреева пройду. Она, конечно, ранена; однако я и здоровую не очень ее любил. Мне все казалось, что она и тогда была не совсем здорова. Слишком валкая, шаткая, нетвердая во всех путях своих. Как-то неудивительно, что первая немецкая гаубица подшибла ей крылья и заставила «влачиться в прахе и в пыли». Дай и ей бог выздороветь, конечно — дай бог.

Но есть одна...

Эта «одна» — та, которую я любил больше всех. И не я только любил ее больше всех. Она была достойна любви нашей, ее крылья, острые и широкие, блестели розово-зеленым зоревым цветом, а в лице было «необщее выражение», — она была единственна.

Я говорю, конечно, о музы Сологуба. Ставя ее выше всех других, я отнюдь не унижаю этих «других»; я люблю многих, но ее, единственную, нельзя не любить «единственно», особой, упорной, неумирающей любовью. Оттого мне так страшно, так до слез горько смотреть на нее, раненую, на нее, больную, бедную, в бреду. И хотя разумом я знаю, что она выздоровеет, но нет сил спокойно и бездеятельно сидеть у ее изголовья. Все знаю; помочь нельзя, болезнь возьмет свое... а все-таки не могу молчать.

Нет никакого сомнения, что она была ранена первым же немецким выстрелом. Еще в начале июля она цвела здоровьем и молодой прелестью. Началом июля помечено стихотворение Сологуба, напечатанное в последней книжке «Русской Мысли». Оно так поразительно-прекрасно, что я лишь по недостатку места не выписываю его с первой до последней строки.

И вы хотите, люди, люди,
Чтоб я земную жизнь любил!..

В этих заключительных словах (как, впрочем, и во всем стихотворении) — Сологуб во весь рост, а с ним стальной, крепкий стих его.

Едва успела прогреметь первая пушка...

Сологуб начал:

Громки будут громкие дела...
...Нации в союзе племен...,

и продолжал, продолжал:

Прежде чем весна откроет
Ложе влажное долин,
Будет нашими войсками
Взят заносчивый Берлин...,

и продолжал, когда союзники наши подошли к Дарданеллам:

Опять, опять надеждой полны,
Мы снова верою сильны...
...Грохочут пушки у Босфора,
И уж свободны станут скоро
Пути для наших кораблей...
...И наши станут шири, дали...

Что это? Сологуб с «опять и снова», с «и уж», с «наши шири»? Сологуб? Нет, только несвязный бред раненой музы его.

Кто не знает сверкающих рассказов Сологуба, то острых, то нежных, и между ними — рассказ «Помнишь, не забудешь», острый и нежный вместе? Кто не признавал (все равно, явно или тайно), что Сологуб — первый из современных романистов и повествователей? Это так, это — несомненно.

И что же, Сологуб или не Сологуб пишет с августа в «Биржевке» рассказы об «офицерских вдовах», о «немках» — «злых гувернантках», о «тупых, злых тевтонах»? Если упорно появляются там «обнаженные чьи-нибудь стопы» — должны ли мы все-таки верить, что это пишет Сологуб? Он ли, наконец, написал повесть «Острие меча», напечатанную в «блистательном» сборнике слишком нам всем известного «Лукоморья»?

Благо тому, кто этой повести не читал. Я не буду передавать ее содержания: его почти нет... впрочем — хуже, чем нет: оно недостойно последнего из наших «писателей» «Петер...», виноват, «Петроградской газеты». Достойно разве «Лукоморья». Я уверен, что всякого, любящего Сологуба, читателя пронизало насквозь это «Острие меча», заставили, может быть, плакать (над Сологубом) эти три (или четыре?) «доблестные» женщины с «доблестными» мужьями и доблестными же союзниками-женихами... Из последних, т. е. из женихов, был один «злой тевтон», который перебил и добил зверски остальных «доблестных мужей и сыновей» (русских), а попав в плен (поделом!), пришел стрелять в Москве в свою невесту за то, что она «доблестно» от него отказалась...

Это — Сологуб? Он? Да нет же, это «опять и снова» — горячечный бред его музы; она ранена, больна, несчастна... Стоны ее долетают до нас, и мы не можем слушать их равнодушно. От любви, сострадания и горести мы не можем молчать.

Не моя, она — чужая подруга; а я горюю о ней, как о близкой, потому что ее краса — мне родная. Знаю, будет час, рана заживет... Но, Боже, как тяжела рана, как долга болезнь!.. А мы ничем не в силах помочь.

Без «аминя» **(«Воспоминания кстати»)**

Есть сторона русской жизни, в которую мы почти не глядим. А когда глядим — ничего из этого гляденья не выходит. Не видя, смотрим, связи между явлениями не понимаем. Побольше внимания не помешало бы. Сторона, о которой я говорю, так значительна, что, не поняв ее, — мы никогда с достаточной глубиной не пойдем и всех других сторон жизни российской.

О знаменитом в свое время Илиодоре писали... но или ради сенсации, или с брезгливостью: культурный пережиток! За Илиодором пошли другие. Разные — но той же линии, в той же стороне. И опять то же отношение — нетерпеливая брезгливость, чесотка сенсации; ко всем — вплоть до современного епископа Варнавы.

Вызвали еп. Варнаву к допросу, а он ответил, что ему, по милости Божьей, было видение, согласно видению он и поступил. Ответив так, — ушел, и спокойно уехал. Мы не знаем, что возражали на видения слушавшие, и возражали ли. Но заранее известно, что так называемое «светское» русское общество решительно ничего еп.

Варнаве возразить не могло бы и вообще никаких внутренних средств для борьбы с ним не имеет.

Говорите хоть до второго пришествия, что еп. Варнава не получил образования, некультурен, порочит законную Думу, — пожалуйста! Все это мимо него. Важно ли образование, когда он удостоился, милостью Божией, видений? Вот даже Меньшиков в «Новом времени» недавно поддержал его, обрушившись на тех, кто робко подал голос за образование в духовной среде. К чему оно там, где нужна святость? Все, мол, священные старцы необразованны. И к ним сами интеллигенты ходят, по уверению Меньшикова, а к образованному не пойдут.

Можно усумниться в варнавинских видениях, не поверить. И это ему горя мало. Кто усумнился? Кто не верит? Те, кто вообще ни в чьи виденья не верят. Ну, значит, они в этом деле над Варнавою и не судьи, и законы их не для него писаны.

Интеллигентским оружием разума, искренности, чувства общественной морали и справедливости с Варнавою ничего не поделаешь. Не перейдешь круга, которым он себя очертил, не поколеблешь камень-адамант, на котором он, милостью Божией, восседает.

Милостью Божией? Вот тут опять: для кого вообще нет никакой «милости Божьей», кто ничего в этой стороне не понимает, тот Варнаве действительно и не судья.

Бросают репейником, и все мимо. Диво ли, что Варнавы только посмеиваются, на адамант надеются?

Между тем и против него есть «слово», есть какой-то «аминь-аминь рассыпья». Но, чтобы открылось слово, мало одного ума-разума. И прежде всего нужны зоркость, чуткость и углубленное, настойчивое внимание. А то ведь и репьями-то швыряются вяло. Что нам темно, мы с легкостью готовы счесть не важным, не существующим, и отходим прочь.

Щетинины (вспомним недавнее дело сектанта-provокатора-миссионера), Легкобытовы (ученик Щетинина), да мало ли их! И это все камушки с той же стороны. Цветом разные, одни покрупнее, другие помельче, а все оттуда же. Щетинина мы встречали в рел.-фил. обществе еще недавно. Молодец с крутыми седоватыми кудрями, сапоги бутылками, в говоре, в облике что-то противное, но по-особенному: неопределимая, неуязвимая противность.

Легкобытов — другой: маленький, говорливый и, пожалуй, не противный. Он однажды провел у нас целый вечер. Это было лет 5–6 тому назад. Уже в это время Легкобытов фактически отделился от Щетинина, ибо все дела последнего уже были известны.

Они не мешали, однако, Щетинину долго еще ходить по собраниям. Да мелковат он. Будь покрупнее, до сих пор ходил бы, пожалуй.

А дела его — самые простые и не скрытные. Кроме дела обычного — баболобия, он брал на хранение деньги своих последователей и не отдавал; собирал «учеников» и доносил полиции, заботясь, чтобы взяли их «с уликами». Все это он открыто, тут же, называл г р е х а м и. Да, — говорил он, — велика моя жертва; беру на себя тяжкие грехи; чем больше возьму я, тем меньше им достанется. Где бы тебе согрешить — согрешу я, а ты будешь чист.

Не думайте, что и в этой извращенной, преступной чепухе нет черты подлинно русской, нет доли вечного соблазна «святостью». Легкобытов, не выдержавший и

отошедший (быть может, за шкуру свою испугался?), и тот все же избегал осуждений, почтительно замалчивал бывшего «учителя».

Легкобытов, впрочем, сам стал учителем. Кажется, очень невинным. В ахинею, которую он нес, просто-напросто ничего нельзя было понять. Но какими глазами смотрели на него двое учеников, с ним пришедших! Простые, скромные люди, — рабочий (еще недавно бывавший на митингах) и его жена, работница на том же заводе. Не знаю, что они понимали, но, должно быть, понимали: уж очень хорошо, ярко горели у них глаза.

Понимали, во всяком случае, что есть какая-то на свете «милость Божия». Поди доказывай им от разума, что Легкобытов плетет ахинею. Они и не услышат доказательств. Даже с крошечным легкобытовским камушком ничего не поделаешь без «аминя».

У Легкобытова и Щетинина слишком крут, однако, уклон в сектанство. Если Щетинин держался прочнее известных «братцев-трезвенников», — то лишь благодаря своим «миссионерским» услугам. А не хватило сметки, переугодил где-то, — провалился.

Трезвенников сразу ославили «сектантами». А в сущности, все их «сектанство» сводилось к неправоверному или даже недостаточно ярко-правоверному взгляду на власть, начальство и народ. С народом они считались, а в сторону начальства мало глядели и знаков преданности не оказывали. Просто, кажется, ничего тут не думали. Но и не «ничего» — уже неправоверие, уже сильный повод для подозрений. И заперли бедных «братцев» сначала в тюрьму, а потом (Иванушку) в его же вырицкий домик; сообщаясь оттуда с «трезвыми» через стеклушко, через запертое окошечко.

Свобода, право, справедливость, закон — все это отнюдь не обязательно для живущих не под законом, а под благодатью. Правда, мы уже по учебникам знаем, что «благодатные дары оскудели». Но это ничего не меняет. Утверждающему себя в благодати — как мы докажем, что именно в нем благодать оскудела? Да и какие у нас средства отличать «неоскудевшую» от «оскудевшей»? Ни средств, ни права... пока мы вообще никакой «благодати» в мире не признаем.

Тот, кто объявил себя живущим по благодати, может с полной последовательностью не считаться с общечеловеческими требованиями. С человеческим определением добра и зла. Может в каждом отдельном случае признать хотя бы свободу, например, и добром, и злом.

Это — принципиально. На практике же, действительно, мы видим много странного. И только подступу у нас к этим странностям нет, благодаря крепости принципа, их прикрывающего, и нашему легкомысленному невниманию.

Почему на практике повелось, что вот, скажем, ту же «свободу» — благодать неизменно, всегда, склоняется признать злом? Всегда или борется с ним, или (если открытая борьба сейчас невыгодна) бездействует, выжидательно молчит? «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» Но откуда сие, что для мужей благодати малейшее свободолюбие — непременно нечестие.

Вспоминается мне один из верных служителей благодати, интересный и простодушный. Высший сан и взбуженное честолюбие несколько связывали его; но своеобразности и простодушия он не потерял. Простодушие-то и наделало ему беды.

Гигантского роста, черный, толстогубый, сильный, веселый, он иногда приходил в гости запросто. В то время ему еще можно было ходить пешком, позволялось даже шляпу носить, даже в уличном ресторанчике закусить вместе своим приятелем, секретарем «светского» журнала.

Поздно вечером спрашиваешь его:

— Отец Х., а ворота у вас не запрут?

Упирая на «о», густо, с детски-лукавым видом, отвечает:

— Когда я иду на дела тьмы, я приуговляю себе убежище...

И потом идет ночевать к тому же секретарю.

Рядом с огромной специальной ученостью в отце Х. как-то уживались детскость и детские увлечения.

Был он раз в особенном ударе. Не стеснялся никакими историями и суждениями. долго, пресерьезно, толковал и апокалипсическую саранчу: «...это все теперь объяснилось; я го-во-рил, это мелкая пресса...»

Дальше — больше:

— А я еще вам такое скажу, такое скажу, что вы все зашатаетесь...

Мы, конечно, ждем. Немного поодаль стоял очень небезызвестный ныне литературно-духовный «деятель» и «генерал» — в то время просто победоносцевский чиновник-придворник. Едва привыкавший к «хорошему» да еще «литературному» обществу, он рассеянно вслушивался в глаголы отца Х. Думал, может быть, о своих манерах и о том, кстати ли надел красный галстух.

— А скажу я вам, скажу я вам, — гремел о. Х., — вот что: о ком писано — никакого того не буде... А это все ти-пы...

Деятель в красном галстукe, очевидно, всего ожидал от о. Х. Без тени изумления или смущения переспросил:

— Все «ки-ты»?

Не смутился и о. Х. Вразумительно поправил:

— Не «ки-ты», а «ти-пы»...

И спокойно продолжал пояснять свое открытие. Если уж «шататься», то от него, или от «китов» одинаково можно «зашататься».

Этот-то самый муж благодати, облеченный высоким саном, и пострадал. На одну маленькую минуточку он позабыл правило: «свободы и законы для подзаконных; в их сторону не смотри, ибо все сие преходяще, благодать же пребывает вечно».

Владыка Х. в первом молебне, выпустил четыре буквы. Не иначе, как по просто-душию, внял он голосу разума там, где разуму быть не полагается.

Еп. Варнава никогда бы этого не сделал. Уж очень греховна сторона, в которую заглянул еп. Х. Зато Варнава может еще раза три и Думу поругать с амвона и, согласно видениям, еще трех святых канонизировать, — и ничего. А епископу Х. одна маленькая минуточка с четырьмя буквами стоили... десяти лет «покоя». Время достаточное, чтоб и ошибку понять, и убедиться: ведь действительно «все сие преходяще, вечно благодать».

Такие ошибочки — большая редкость. Сколь ни разнообразны благодатные мужи, столь ни протяженна лестница, по которой они шествуют, правоверие в и з в е с т - н о й т о ч к е у всякого крепко. И чем крепче, тем крепче и выше его ступенька.

Впрочем, разнообразность их и в других отношениях — весьма относительна. Взять хотя бы такую твердо-постоянную вещь, как «боболюбие». У кого (из несредних) нету «боболюбия», — у тех непременно такое же неудержимое крайнее — «бобоненавидие». А ведь это другой конец той же палки.

Нам случилось знать мужа изысканнейшего, не владыке Х. чета. Прекрасного рождения, общества и образования, «правоверный», конечно, до самой предельной степени, он был одержим именно «бобоненавидием». Эта страсть даже честолюбие его порою побеждала. Несть числа юношам, которых он властно вел и привел к «ангельскому чину», все ради спасения от скверны, от от, от женщины. Ускользнувшие из-под его влияния не повторяли «огневых» речей учителя. Ибо они были неистовы. Несдержанная грубость, до которой, верно, далеко и «необразованному» еп. Варнаве, достаточно известна всем, не одним «ученикам» высокого мужа. Он не брезговал ею и в «свете». Нужно сказать правду: находились женщины, которым, к вящему ликованию проповедника, такое обращение даже нравилось... Палка о двух концах...

Как-никак грубословие хоть и смущало многих, — терпели. Не судить же; может, ему так «дано»?..

И грубость, и двуконечная палка насчет женщин, и другие разные вещи — все это, конечно, мелочь, деталь. Но не мелочь — принцип, устой, всегда один и тот же, всегда крепкий, и доселе неуязвимый, несокрушенный.

Мелочи мы иногда замечаем, а на главное не смотрим. Русское интеллигентное общество, столь много размышляющее над судьбами России, — ничего не может поделаться ни с Варнавой, ни с другим каким старцем, если он объявит свои действия «по благодати», обопрется на адамант-камень. Можно послать таким Варнавам бесильный упрек в «некультурности», но стоит ли?

Стоит — обернуться, оглядеться, увидеть понимающими глазами те явления русской жизни, о которых мы еще серьезно не думали. Как могло это случиться? Ведь они не где-нибудь за семью морями и семью замками, а тут же на виду, среди нас...

А когда увидим? Надо еще знать разделяющее «слово». Пока Варнаву не зами-нишь, он не рассыплется.

Но об этом не беспокоюсь. Увидеть, понять действительно — значит найти и «аминь».

Детский взор («Воспоминания кстати»)

I

Шуми Марица
Окровавлена,
Плаче вдовица
Люто ранена...

Все слышу, как это повторяют, и еще дальше, длинно, — запомнить не могу. Мне седьмой год или около того, но, постоянно обретаясь среди взрослых, я с интересом отношусь к их делам; стараюсь выяснить смысл этих дел и течение. Я уже знаю по

опыту, что многочисленные и беспорядочные вопросы, обращенные к кому попало из взрослых, — бесполезны; у меня есть какая-то неуловимая для собственного ума, но определенная система спрашиваний.

Однако в последнее время все так запуталось и заволновалось, что мои вопросы делаются все чаще и настойчивее.

Маму и папу я пока оставляю. Кроме них есть бабушка, — но она не знает про теперешнее, а только про старое, про святых и светопреставление. Есть няня, — она меня не удовлетворяет. Остается Аглаида Павлова, недавно поступившая гувернантка. Я ее не боюсь и не ненавижу, как других гувернанток; все называют ее институткой и «восторженной»; ко мне она не пристаёт, предложила быть с ней на «ты» и звать «Агой», но отказ мой приняла покорно. Мне нравится, что она все больше с мамой и «обожает» ее.

За эту Аглаиду Павловну я принимаюсь на уроке чистописания.

— Уж война теперь? — спрашиваю как бы вскользь. — Друг с другом?

— Как это — «друг с другом»? Точно вы не знаете, что у нас война с турками. Это варварский, нехристианский народ, угнетающий наших братьев.

Я не совсем понимаю, несколько смущаюсь.

— Каких братьев?

— Ах, боже мой, братушек, славян, болгар, сербов, румын... (Отлично помню, что Аглаида Павловна назвала и румын.) Турки владычествуют над ними и беспощадно вырезают их. Понимаете? наших братушек. Вся Россия слилась в едином порыве и вместе со своим Ангелом-Освободителем выступила на защиту кровных против турок, понимаете?

— Конечно, понимаю, — говорю я угрюмо, хотя еще ничего не понимаю. — Ну, а Марица окровавлена, кто это?

— Песня, песня братушек, река в Болгарии — Марица, башибузуки убивают несчастных болгар, бросают трупы в воду, и вода делается красная. Русские победят этих зверей, возьмут болгар из-под их власти. Это — святой подвиг. Вы видели на картинке башибузуков? Такие черные, с большими носами, с нависшими бровями, страшные? Они у турок считаются самыми зверскими, самыми сильными.

Я вспоминаю картинку и подпись. Страх овладевает мною.

— А у нас нет башибузуков? — спрашиваю я не без надежды.

Аглаида Павловна улавливает смысл вопроса и возмущается:

— Господи да боже сохрани! Наш солдатик всех башибузуков должен победить!

Я хочу верить, но с одной стороны «сильный башибузук», а с другой — «солдатик»... Погружаюсь в размышления; отчего турки злые, а мы добрые? Что будут делать солдатики с «братушками», когда отнимут их у турок?.. Аглаида же Павловна спешком, скороговоркой продолжает что-то говорить интересное, — но я сразу не в состоянии разобраться, — потом.

Входит мама. Улыбается. Смотрит на Аглаиду Павловну.

— Ах вы, патриотка! Опять о войне?

Я знаю, что Аглаида Павловна кончила в Петербурге (мы живем в Харькове) Патриотический институт, и потому слово «патриотка» меня не удивляет. Но Аглая Павловна кидается к маме:

— А вы разве не патриотка, дорогая, дорогая! Все мы, все теперь, все заодно, вся Россия как одна душа за святое дело!..

С меня довольно. Ухожу в бабушкину комнату разбираться в узанном — в болгарях, башибузуках, патриотках и солдатаках. Кое-что, быть может, пояснит и бабушка.

II

К нам приходят дамы, мелко-мелко шагая в длинных платьях, ушитых оборочками. Я знаю, что эти платья связаны внизу рядом тесемочек (у мамы тоже), от тесемочек дамы и шагают так мелко. Мне их жаль, ведь очень неудобно... Дамы целыми вечерами щиплют «корпию» — дергают нитки из полотняных тряпок. У нас уж изрезали для этого все старые наволочки. Корпия лечит раны, ее посылают, насколько можно понять, братушкам-болгарам, но не башибузукам.

Прислушиваясь к разговорам дам за корпией, я уже порядочно знаю о войне. Знаю, что есть Шипка, нечто вроде горы, на которой «все спокойно». Что болгары-братушки с нами «одной веры», встречают наших «солдатиков» слезами и поцелуями, знают, что когда мы их отнимем у турок и возьмем себе — мы бить не будем.

Впрочем, Аглаида Павловна не согласна, что мы возьмем братушек себе. Она толкует, что мы их только защитим от турок, а потом уйдем. Но если мы их оставим там же и уйдем, — почему турки послушаются нас? Турки с ними рядом живут, и как мы отвернемся — они их и заберут. Нам опять, значит, идти и на те же горы лезть.

Башибузуков я все еще боюсь. Вечером, чуть закрою глаза, — сейчас вижу их страшные рожи. Столько портретов с них рисуют, что не забудешь: глазищи черные, брови нависшие, нос огромный. Как-то наши солдаты с ними справляются? Вижу этих на улице, в вагоне — самые обыкновенные и небольшие.

Правда, у нас зато есть Белый Генерал. Он всюду появляется в белом кителе на белом коне, всех побеждает, а ему ничего не могут сделать: заколдованный. Но все-таки он один, а башибузуков много... И я мечтаю: вот если б сколько у турок башибузуков — столько было у нас белых генералов...

Раз как-то среди этих мечтаний днем я прохожу через гостиную. Помнится, был звонок; гость пришел, значит. Но к нему еще не выходили. Вот он стоит один у стола спиной ко мне, спина широкая-широкая... И вдруг обернулся.

На меня нашло оцепенение. Когда что-нибудь такое случается — я не кричу, не бегу, а цепенею. И теперь случилось самое неожиданное, что только можно вообразить: у нас в гостиной стоял живой башибузук!

Одного мгновенья было достаточно, чтобы заметить все: и черные глазищи, и зверские брови над повисшим носом... В следующее мгновенье, когда это страшное лицо, скаля зубы, двинулось и замычало какие-то слова, — мой столбняк прошел. И вот я уже лечу по коридору как вихрь, молча и безумно, не разбираю дороги, сметаю в сторону горничную Глашу, потом еще кого-то, потом с налету качусь под ноги Аглаиде Павловне, которая успевает схватить меня за плечи, я рвусь, Аглаида Павловна приседает было на корточки, но, рассмотрев мое страшное лицо и кое-как расслышав захлебывающийся шепот: «ба... баши... зук...!», — визжит пронзительно, поднимает меня на руки и, спотыкаясь, бежит куда-то со мной.

Кажется, мы остановились уже в кухне, на визг сбежались все: няня, тетя, бабушка. Явилась и мама. Помню красное, в слезах лицо Аглаиды Павловны, шум, возгласы, объяснения. Бабушка оторвала мои руки от шеи защитницы и увела к себе, что-то говорила, успокаивала.

— Да не реви ты... Не реви ты... Полно-ка... перекрестись: ничегошеньки и нет нигде... Это черт тебе привиделся, за то, что Богу не молишься.

Поверить, что черт привиделся, — пожалуй, можно бы. Слезы мои понемногу утихали. Но какой удар ожидал меня впереди!

Этот удар нанесла мне явившаяся через полчаса в бабушкину комнату Аглая Павловна. Она все еще была красна как рак и презлобная. Тогда сразу поверила мне о башибузуке, все это видели, и теперь не могла простить мне такого потрясающего стыда.

— Башибузук! — громко захохотала она мне в лицо. — Вот до чего вы себя довели! Хороши, нечего сказать! Да знаете, кого вы видели? Знаете, кто там и сейчас с мамой и папой сидит? Это один из тех, за которых Россия кровь свою проливает, это брат наш, братушка, болгарин, кровный наш и притом храбрый Петко Петкович! Вы только подумайте, что вы сделали!

На меня опять было нашло оцепенение. Но тотчас же исчезло. И слезы иссякли. И никакого не было стыда. Ах, вот как! Так вот они какие, братушки, болгарины эти самые! Ведь я помню: и брови зверские, и зубы. И нос — ведь точь-в-точь как у башибузуков. Ну пусть бы дрались там, если хотят, друг с другом. А наших-то им зачем? У нас есть свои реки и свои вдовы тоже. Да я, может, вовсе и не хочу за них, таких, кровь проливать? Чем они братушки? Да, может, потом окажется, что и башибузуки братушки?

Все это неясным и неопределенным вихрем пронеслось у меня в голове. Слов для этого нет, но я стою перед Аглаидой Павловной без раскаяния, смотрю на нее с угрюмым и упрямым презрением. На все ее восклицания молча пожимаю плечами, а на требование сейчас же пойти в гостиную, познакомиться с обиженным «братушкой» (хорошо, что он ничего не знает!) я отвечаю бесповоротным «не хочу».

Так и ушла Аглаида, ничего не добившись.

III

Отсюда воспоминания мутнеют. Потому, должно быть, что непонятная война, так занимающая взрослых, меня путала, огорчала, наталкивала на сложные, неразрешимые мысли, а сама так и оставалась непонятной. Ну и пусть ее. Лучше слушать бабушку, она, не суетясь, рассказывает про старое и про то, как святые угодники заранее указали последние времена: «перед концом огненный змей пройдет по земле... Сетью железной землю кругом обовьют... Вот и пришло оно, исполняется».

— Где же, бабушка?

— А железная дорога? Это тебе еще не огненный змей? Сеть железная — телеграфы. Везде небось столбы-то проволочные напоставлены. Вот и сеть, опутали матушку сетями... А еще сказано: брат восстанет на брата... Как же не последние времена?

Брат на брата... Мне совсем глупо вспоминается мое восстание на «братушку»... и опять война.

Тут кстати говорят, что на кухню пришел Викентий и... что его взяли в солдаты. Вот тебе раз! Не могу удержаться, бегу на кухню.

Викентий — предмет моей пылкой, ревнивой ненависти. Еще бы! Ведь он жених моей няни Любы, которую я помню, как себя помню, и люблю больше бабушки. Кто же на моем месте не возненавидел бы Викентия?

Сейчас на кухне он сидит противно-румяный, но по-новому подстриженный, в шинели на одном плече, в белой рубахе. Доволен или огорчен — не поймешь: вечно скалит зубы. Его не то утешают, не то поздравляют: «защитник, за веру пошел. Всех турок побьешь». Няня Люба фыркает носом, — ревет и, нисколько не стесняясь, — ропщет: «да будь они прокляты, турки, и с братанами эфtimi! Кое место народу гонют!»

Викентий ко мне всегда изысканно-ласков (если можно так выразиться). Никогда, бывало, без подарочка не придет: или коробочку, или картинку... Я беру, стиснув зубы, а потом в темной детской, рву и топчу ногами эту самую картинку от ненависти...

Теперь этот самый Викентий — наш «солдатик», защитник и герой. Теперь его необходимо любить. Я чувствую, что ненавижу по-прежнему. Теперь надо молиться о нем, а я... холодея от ужаса перед своей греховностью, я сознаю, однако, что во мне мелькает надежда: вдруг его убьют, ведь няня-то Люба тогда моя останется...

Эти несчастные противоречия тут же, на кухне, доконали меня. Я горько и беспомощно плачу. Няня Люба, растроганная моими слезами, сама фыркая, уводит меня, да еще утешает:

— Ох вы, батюшка мой белый! Не плачьте, глазок не портите! Вернется он, Викентий, что ему делается! С медалью вернется, с отличием!

Утешила, нечего сказать! И я реву с последним отчаянием.

IV

Взяли Плевну, и целый день было ликование. Вечером мы с няней Любой и с Аглаидой Павловной (она уже и не знала, куда деваться от радости) ходили на иллюминацию. Плошки чадно дымили салом, а в окне табачного магазина горел огромный транспарант: на нем вырезано было розовыми буквами:

— Плевна!

Меня, впрочем, это не очень веселило; одно хорошо — все говорят, что теперь все скоро кончится, потому что мы уже победили. Аглаида Павловна собиралась-собиралась в сестры милосердия, а теперь сама видит, что опоздала, не успеет. Мы переезжаем в Петербург, папу перевели туда в сенат, и Аглаида Павловна с нами — хочет на какие-то курсы поступать. В восторге, как всегда, и объясняет мне, что быть курсисткой — необыкновенно почетно.

До нашего отъезда еще много ликовали насчет Осман-паши, мне объяснили, что это — важный турок, и мы его взяли в плен. И повезут к самому царю. Да, уж если Осман-паша в плену, — о чем же еще разговаривать!

Аглаида Павловна чрезвычайно была занята Османом. Мы уж не верили, что она про него рассказывала.

Но вот едем мы в Петербург. Едем в двух купе, народу нас много, няня Люба и Аглаида Павловна на станциях за кипятком бегают, — бабушка все чай пьет от скуки, не любит она на «огненном змее» ездить...

Вдруг на какой-то большой остановке влетает Аглаида Павловна назад в вагон вся красная и прямо к маме:

— Душечка! Я вне себя! Ведь с нами Осман-паша едет!

— Что вы? Как с нами?

— Душечка, клянусь вам! Я все узнала! Отдельный вагон... Особый... И свита, свита кругом! Няня! Где у вас самый большой чайник? Давайте же, давайте, ради самого бога! Я будто за кипятком... И будто ошиблась вагоном... Я его посмотрю... Я не могу...

Мама напрасно пытается ее удержать, за рукав даже схватила — Аглаида Павловна, растрепанная, уже летит по платформе, гремя жестяным чайником.

Осман-паша взволновал и меня. Но как же это? Ведь он в плену?

— Мама, отчего она говорит «свита»? Он разве принц? Мама, ведь он в цепях? Или в вагоне клетка?

Мама нетерпеливо и неинтересно объясняет мне, что клетки нет и цепей нет, а просто он положил оружие и его увезли из Турции. Я разочарованно шепчу: «Что это за плен?» Но маме не до меня: беспокоится за «сумасшедшую Аглаиду».

А ее все нет. И второй звонок. И третий. Свисток кондукторский зажурчал. Только что дернулся поезд — отворилась дверь. Аглаида!

И в самом страшном виде. Краснее красного, волосы повисли, перед платья мокрый, а руке чайник без крышки.

— Душечка! душечка! Какой скандал! Но видела, видела, честное, благородное слово!

Едва мама допросилась толком, что с ней было. Оказывается, она, взяв кипятку, храбро пошла прямо к османову вагону и мимо всех красных фесок влезла внутрь.

— Но, душечка, как увидела я старичка, а кругом эти рожи черные, и генералы, все генералы... Я смутилась. Присела на корточки, а чайник клоню, клоню, из носика вода на ковер, на меня, пар столбом, а они все ко мне, и по-французски, с участием даже, ей-богу! Я что-то лепечу в ответ, а гляжу все на Османа... Тут меня тихо под локти приподняли и вывели, очень вежливо, а жандарм уж сюда проводил... Ах, боже мой! Только в чайнике воды не осталось совсем... Душечка! Он очень величественный!

Бабушка, услышав о величии «турки», плюнула, няня Люба ужасалась и завидовала Аглаиде, мама хохотала.

Потом, на петербургском вокзале, мы все видели этого Османа-пашу. Его вывели под руки, и он, худошавый и маленький, как-то оседал между двумя людьми громадного роста, с двух сторон его державшими. Узкое темное лицо с узкой бородкой не показалось мне величественным. И глаза были какие-то бедные. Пожалуй, и не стоило и в цепи заковывать. Не убежит.

За ним двигалась «свита». Кажется, Османа провели в Царские комнаты.

Так мы приехали в Петербург. А вскоре кончилась и война. Началось что-то другое, новое и, может быть, гораздо более интересное.

Литературное «сегодня»

Со времени, когда время точно изменило свой ход и потекло с бурной скоростью, т. е. с начала войны, литература наша и (и литераторы) пережила несколько стадий.

Взрыв первого «патриотизма» объединил всех. Толкнул и писателей на воинственные клики, на «гром победы». Так понятно по человечеству; однако ни из первого «грома», ни из последующих, более умеренных «фронтовых» писательских попыток никакой литературы не вышло. Серьезный поэт, редактируя будущее собрание своих сочинений, вряд ли включит туда свои «военные» стихи.

Отчего же так не удалась наша военная литература? Причин сколько угодно, самых объективных, от писателей не зависящих. Но есть одна очень характерная, — на ней я и остановлюсь.

Дело в том, что современные писатели, особенно молодые, особенно поэты (громное большинство из них) — вовсе не люди. Сохрани меня боже сказать что-нибудь дурное. Конечно, конечно, всякий из них человек. Но когда он человек — он не поэт, а когда поэт — не человек. Между искусством и жизнью легла разделяющая линия.

Взметнувшийся вал истории вдруг захватил всех; все писатели сделались «людьми». Но... поэтический дар тотчас же покинул их. Человеческие дела делал каждый, кто их делал, — прекрасно, а поэтические оказались... не поэтичны. Не уничтожишь так, сразу, глубокую межу, отделяющую человека от поэта. Не со вчерашнего дня она вырыта.

То, что случилось дальше, было только последовательно. Писатели мало-помалу вернулись к литературе. Не только забыли напряженный «гром победы» первых времен; не только отошли от чисто военных, фронтовых тем; они отступили за свою черту, возвратились в то самое чистое поле чистой литературы, где гуляли все последние годы, — до 14-го. Сделались опять литераторами, точь-в-точь такими, как прежде... прекрасными литераторами — не людьми.

В чистом поле искусства за время их отсутствия ничего не произошло. В этом поле, когда оно чистое, никогда ничего не происходит.

И все повернулось на прежний лад.

Книг издается сколько угодно. Особенно много небольших, изящных сборников, принадлежащих молодым поэтам. Вот сейчас у меня на столе 8—9—12 книжек. Изданы с большим вкусом (и где бумагу такую достают!), стихи почти все хорошие, есть и прекрасные. И все — под знаком «Вечности и Красоты» — исключительно. Хороший знак! Но ведь я сейчас говорю с особой точки зрения. Трудно примириться в иные времена с обособленностью литературы. С «или-или» современного писателя: или он человек (и в этот час уже не поэт), или поэт (но не человек).

Недавно кто-то перечислял ярлыки наших общих группировок: «побединцы», «оборонцы», «пораженцы», «неуспеховцы» и «наплеванцы». Было бы неточно и грубо назвать всю литературу нашу «наплеванческой». Однако, если к чему она ближе, так именно к «наплеванству». И не на войну — наплеванство, — на жизнь.

Простое молчание о войне, как таковой, отсутствие чисто фронтовых тем — это была бы только радость. Ведь, в самом деле, современную, пулеметно-газово-шрапнельную войну в поэзию все равно превратить нельзя. Ни теперь — ни потом, когда она

отойдет в историю. Но разве только одна война? только там, на настоящем, западном или южном фронте? Разве не кипит войною всякая струйка всякой теперешней жизни? Разве остались теми же для человеческого взора и небо, и облака — не говоря о земле?

Сам воздух, которым мы дышим, и тот изменен. И надо особенно исхитриться, чтобы писать... не то, что не о войне, но без малейшего отражения ее на том, что пишешь.

Скажут, это издавна:

Пока не требует поэта
к священной жертве Аполлон...

Мало ли что издавна. Бывают дни, когда рушатся старые жертвенники. И жертвы прекращаются — негде их приносить. В эти дни — все равны, все, так или иначе, в борьбе — в жизни. Будут новые жертвенники; но их создадут не те, кто из борьбы уходит, ищет уцелевшего прежнего камешка, чтобы зажечь на нем прежний огонек.

А именно так поступает большинство наших лучших писателей, и старых и молодых: стараются зажечь довоенный огонек, делают вид, что их «Аполлон требует...» Не требует: Аполлон убежал, закрыв лицо, едва стал разрушаться его жертвенник. Убежал — и будет скрываться до времени, которое еще не пришло.

По справедливости следует вспомнить, однако, что были у нас около литературы «писатели», которые Аполлону жертв не приносили и сейчас «пеньем на прежний лад» не занимаются. Я говорю о «футуристах». Чем же они занимаются? Кто они?

Футуризм откровенно умер, — так заявил его главный представитель, Маяковский (единственный талантливый). Умер, кончился, — исполнился: футуризм — это и была будущая война; когда она из будущего перешла в настоящее, то и футуризм потерял свой *raison d'être**. Дело естественное; лишнее доказательство, что наш футуризм просто был переводом с итальянского. Но Маяковский настаивает, захлебываясь, на пояснениях, в 1 номере журнала «Взл» (второй — не вышел): «...ни одного благоустроенного угла, разрушение, анархизм. Над этим смеялись обыватели, как над чудачеством сумасшедших, а это оказалось дьявольской интуицией, воплощенной в бурном сегодня. Война расширяя границы государств и мозг заставляет врываться в границы вчера неведомого». (Знаки препинания по Маяковскому.) Далее: «футуризм умер как особенная группа, но во всех он разлит наводнением. Сегодня все футуристы. Народ футурист».

К тому главному положению, что футуризм умер как футуризм, найдя свою настоящую плоть, и что эта плоть — война, пояснения Маяковского ничего не прибавляют. Но они оправдывают нашу прежнюю интуитивную ненависть к футуризму, отрицание принципа этого футуризма. Три четверти мира (больше) относилось и продолжает относиться отрицательно к войне, к самому ее принципу. В этом отрицании залог всего нашего будущего: истинного *futur'a*. Что же такое ликующие клики Маяковского о всемирном разлиии футуризма, — «все футуристы. Народ футурист»? В лучшем случае — ребячество. Нисколько не «наводнен мир» военно-футуристическим упоением. Если «наводнена» некая малая часть мира, то разве только Германия (с придачей футуристов). Но и германский народ как «народ»

* разумное основание (*фр.*).

трудно, страшно осудить навеки, объявив его «народом-футуристом»; говорить ли о каком-нибудь другом? Англия, что ли, Франция, или мы жили войной и теперь принимаем ее как «исполнение мечтаний»?

Но даже и в Германии, если и живут войной, — не говорят этого (стыдятся). Даже там делают вид, что «принуждены были к войне», что «любят мир» и т. д. Одни итальянские футуристы 12–13-го года заорали про войну, да вот теперь наши переимщики открыто ликуют, — «воплотилось желанное!»

Приходится иной раз по совести назвать германцев — варварами; тем более пристало это грустное имя к футуристам. Правда, они и не воюют, и войны не делают, а все это одни словеса; но варвары безответственные лучше ли ответственных?

Таким образом литература нашего дня или не имеет никакого отношения к внешнему миру, или (если мы включим в нее кучку футуристов) — имеет отношение варварское.

Конечно, первое (никакое) — лучше, и слава богу, что иноземный «футуристический» росток у нас скверно принялся, так скоро завял. А что касается отдаленности нашей художественной литературы от жизни, узости ее горизонта и отсутствия у писателей общего мирозерцанья, то ведь это не с войны и началось. Давно уже свернули писатели на тропинку чистого «описательства». Достигали тут великолепных результатов, и... получилось разделение, особенно тяжелое в тяжелые дни истории.

«Хорошо пишет, да сказать ему нечего», — так определялись, в критике и в читательской среде, очень многие из наших художников. Новые, молодые, — в большинстве того же типа. Нет более «властителей дум», ибо к «думам»-то они как раз отношения не имеют. Изысканный стиль, тонкая эстетика «описательства», не делают их даже «властителями чувств»: бездумные чувства не живучи, восприятие быстро притупляется. Голая эстетика не надолго действительна.

Как это кончится — не знаю. Но знаю, кончится. Не смотрю вперед с безнадежностью. Кипит борьба, меняется жизнь. Кто вовремя это заметит, обернется к жизни, будет участвовать в ее сдвиге — те и войдут как творцы в обновленную литературу. До сих пор обновлялась она лишь извне, частично, словесно. Старое вино переливали в новые мехи; так долго переливали, что и вина почти не осталось. Сжались мехи раньше времени и пришли в негодность.

Теперь все миновало. Бродит новое вино, будут для него новые мехи; и никто уже, «попробовав нового», не скажет: «старое лучше».

Предмет десятой необходимости

А может быть, двадцатой и сотой или даже никакой... Я говорю об искусстве. Суровы дни наши. Все перевернулось. Предметы издавна «первой необходимости» — хлеб, дрова, жилье — и те стали второй; — а первой — железо. Так есть, и не может быть иначе, потому что есть война.

Дорого железо, дороги сильные рабочие руки, дорого всякое «деланье». Подешевела неосязаемая работа мысли и духа, «творчество». Делание и творчество — вещи разные. Нас захватило деланье; некогда, некому да и не к чему творить.

Что происходит в литературе? На первый взгляд — ровно ничего. Живет одна чистая публицистика. И плохо, кое-как. Публицистика — не творчество и не деланье, середка на половинке. Однако она имеет «вид» деланья, этим держится, и поневоле бегут в нее люди, которые хотят «деланья», но ничего, кроме пера, не умеют держать в руках, — ни штыка, ни молотка.

Достойна глубокого уважения эта жажда подпереть и своим слабым плечом общую тяжесть, хоть кое-как... А все же душу-то война вывернула наизнанку, как перчатку. Я знаю настоящего писателя — и не одного! — который потянулся к «деланию», целиком бросился в публицистику самую голую. Неудовлетворенный, он в промежутках устраивает детские приюты, хлопочет в разных комитетах и... болезненно ненавидит сейчас всякую «литературщину», «словесность», всякую «идейность».

Святая ненависть! А все-таки душа у этих ненавистников вывернута наизнанку.

Есть, впрочем, кроме увлеченных деланьем, отрехшихся от себя, художники и мыслители другого типа. Они борются с бесцветностью и загнанностью своей работы, упрямо идут с нею на поверхность. Их тоже нельзя не уважать (если они действуют не по легкомыслию и наивности). Упрямо пишут, думают, издают книги, занимаются «творчеством» и верят в него. Блаженны верующие! Но тут есть еще одно сомнение: может ли, будет ли иметь сотворенное сегодня ту же ценность безотносительную, какую могло бы, создаваясь в других условиях, в иные дни? Насколько связано искусство с жизнью? Цветы надземны, но корни их в земле; неосвязаема работа духа, творчество надземно, но корни его в жизни. А сейчас жизни, в прямом смысле, нет: вместо нее война. Не без корней ли будут наши цветы сегодня, сколько бы мы их не растили?

Впрочем, это решит будущее. Теперь же, взглянув в сторону непокорных, можно лишь отметить, что больших успехов они не достигли. Почти все написанное за время войны ниже своих авторов. И ни один не подвинулся вперед во всяком случае. Я уже не считаю их падений — их писаний о войне. С этого скользкого пути наши писатели быстро свернули, нечего пожинать старое. Но во время войны — что создано, что сказано? На чем остановишься?

Смотрю — и не вижу. Ищу, хочу найти — и не нахожу.

Нет, говорят мне, есть у нас и совсем недавние, хорошие книжки. Есть интересное и в журналах. Разбираться в этом, правда, некогда, не до того, однако надо же быть справедливым!

Надо. Смотрю, отмечаю действительно интересное... и убеждаюсь, что оно, хотя вынесено в публику, напечатано теперь, — написано до войны. Самая удивительная книга, конечно, — «Детство» Горького. Книга большого писателя и большого человека. Ее время придет, она будет оценена, потом, не теперь, когда «некогда», когда не до искусства и не до человеческих душ и глубин. Но ведь «Детство» написано не во время войны! А вот рассказ, остановивший мое внимание; напечатан в одной из последних книжек «Русской Мысли» и написан опять до войны — четыре года тому назад! И так далее, и так далее...

Что ж, примириться с этим. Не будем искать ненаходимого. Писатель, который, несмотря ни на что, все-таки печатается сегодня, — верит в нужность своей работы. Посмотри же в его сторону.

Я говорю об Иване Новикове.

Уже тем замечателен этот писатель, что так отличен и он, и судьба его от «стиля» своих современников. Не начинающий: пятнадцать лет в литературе! Но пока вздувались и лопались дождевики, пока их утром захваливали, а вечером заругивали, Новиков тихо шел по сторонке, в тени, выпуская книги, которых как-то никто не «увидел». Бывало, новейшие беллетристы одной рукой последнюю строчку в рассказе дописывают, другой — сапог надевают, чтоб в редакцию бежать, сдавать; а Новиков по четыре года держит в столе повестушку, и в редакциях не знают ни его лица, ни возраста, ни в какой части света он квартируется.

Всякий ныне побыл в газете; Новикова в газете нельзя себе представить. Книги его выпускались изданиями вовсе не захолустными и были везде; мало того, пьеса его шла (до сих пор идет) в театре Незлобина, там, где Андреев и Арцыбашев... а Новиков до сих пор — незнакомец.

В чем дело? Или Новиков плохой писатель? Или язык у него устарел, ко вкусам не подходит? В чем его главное отличие от?, Сургучевых,? и других, более признанных?

Внешняя манера письма, техника Новикова самые современные и не уступят даже «более признанным», вроде А.Н. Толстого. Но внутренне от этих нынешних «признанных» его отделяет целая пропасть. Разницу между ними я могу определить очень кратко, одним словом, даже одной буквой: они все — описатели, Новиков — писатель. Сегодняшние художники описывают (очень картинно, ярко), Новиков — пишет, а если и «описывает» порой, то это у него не главное, а только для главного.

Новиков ставит вопросы. Вот его главное. И единственная точка его силы. При том вопросы такие большие, важные, что отвертываться от них можно лишь при дикой моде на «отсутствие всяких вопросов». Эта мода и породила описателей. Она, впрочем, понятна: устали от прежней тенденциозности; обожглись на молоке — дуют на Ивана Новикова.

Я не хочу преувеличивать писателя, его значения, его таланта. Я точно держусь сказанного: писатель, глубоко ставящий глубокие вопросы. Чуть отступив от этого — он падает. Соблазны чистой эстетики делают его сейчас же неловким, нехудожественным, незначительным. Но гораздо хуже, когда им же поставленные вопросы он пытается сдвинуть с места, найти хоть какой-нибудь ответ: вместо ответов — тенденциозность, выдумка, натянутость или примитив. Оттого так смяты все его «концы». В «Орембовских» почти нет этих срывов, и роман лучше других. Старый, «Из жизни духа», тоже очень любопытен, хотя уже менее ровен и выдержан.

Но особенно ярка и выдержана в смысле «постановки вопроса» «Повесть о коричневом яблоке» («Русск. мысль»). Провал, и очень характерный, там лишь в двух-трех фразах конца. Именно эта повесть, вся остро-талантливая, цельная до предпоследних строк, заставила меня особенно серьезно взглянуть на писателя; срыв окончания, эти как будто лишние, сухие фразы «ответа» — он только дорисовывает его своеобразный лик.

Когда я сказал, что Новиков умеет ставить вопросы, но не умеет на них отвечать, я знал, конечно, что на «вечные», «проклятые» вопросы (только их писатель

и трогает) вообще нет никаких последних ответов. Но к последним, своим, временным, — многие подходили. Искали нужные по времени решения и выходы. Новиков — определенно безвыходен. Огненно спрашивает, а если отвечает, то даже не пепельно, просто бумажно.

«Проклятых» вопросов немного, но бесконечно сложна и разнообразна их формулировка. Человек, любовь, человечество, Бог.. Вопрос любви, вопрос пола, который так легко снизить до хихикающего вопросика, у Новикова остается везде на чистых высотах, сплетаясь с вопросом о Боге. О Боге и о поле — вот, в сущности, все, о чем говорит Новиков, на чем он сосредоточен и сужен, да, сужен. Углубляет с пламенной привязчивостью трагедию человека-единицы, личности, погибающей в раздвоении страстей и вечно зовущей Бога. Но вопроса третьего, органически связанного с двумя первыми, не менее трагичного и божественного, — точно не видит. Трагедия не человека-единицы, а человечества, общечеловеческая, — вне поля его зрения. Поэтому никогда, на образе жизни, им воплощаемой, нет никакого отражения «общественного» — хотя бы в самом широком смысле слова. Новиков тут даже особенно, холодно невнимателен. А если конкретно встает на дороге этот вопрос — он спешит отойти, сосредоточиться на своем, обузяться.

Новиков, как любой из его героев, — одиночка. Сам, один, в центре одиночной трагедии, в одиночной борьбе с Богом. Но Божий лик остается темным, невиденным, и борьбе, как борьбе Иакова с Богом, нет разрешенья.

Герой «Коричневого яблока» разорван мукой надвое: между влюбленностью и похотью. Он взывает к Богу: где правда? Что надо убить? Быть может, надо убить и то и другое? Но хочет ли Бог полного бесстрастия? Но Бог молчит. Без ответа, на свой страх, человек убивает похоть (красивую и невинную Аграфену). Что же вышло? Устранилось ли противоречие? Уцелела ли хоть влюбленность? Нет. Усталый Новиков в двух словах кончает все — счастливым браком. Бог так ничего и не ответил — за него Новиков ответил, точно рукой махнул. Ведь понимает же он, что <на> вопрос, поставленный с последней остротой и так воплощенный, счастливая семья — не ответ.

В других своих произведениях Новиков отвечает просто смертью. Чем еще, если неизвестный Бог молчит, не указывает выходов, а без Бога их не найдешь (это Новиков знает твердо)? Случайность, нагроможденность смертей бросается в глаза: опять то же маханье рукой, неотчетность, безвыходность.

Тут не вина — только слепота писателя, хотя, может быть, и роковая для него. Узка глубь одинокого сердца. Но всякая глубь значительна. И значительны по-своему писания Новикова.

Пусть он «ставит» вопросы. И это уже толкает, будит, волнует так, как не волнуют никого самые искусные представители «чистого» искусства. А ведь куда ни оглянись, повсюду это чистое, или «голое» искусство. Неестественная, утомляющая душу нагота.

Вот, заговорив о книгах, написанных вне войны, я невольно и говорю о них вне войны. То есть вне жизни, если война сейчас стоит на том месте, где стояла жизнь. Да, в ней (жизневойне), как ни поворачивай, нет уголка для искусства. Ни для «голого», ни для Новиковского, углубленно-одинокого, личного. Что там дальше бу-

дет — посмотрим, а пока нет. И сколько бы Новиков ни боролся с этим, ни печатался — его значительные книги не имеют сейчас ни малейшего значения.

Кроме искусства — бесприютна в наши дни и мысль человеческая, «идеи». Это ведь тоже не деланье, а творчество. Передо мной тяжелый том Н. Бердяева «Смысл творчества». Книга новая (хотя написана тоже до войны). Уже по заглавию видно, что она жестоко не нужна суровым нашим дням. Но если не считаться с этим (говорил же я о Новикове), то следует сказать несколько слов о Бердяеве и его идеях. В некоторой связи с Бердяевской книгой мне вспоминается еще одна, тяжелее самой тяжелой — чуть не две тысячи страниц! Книга, уже не относящаяся ни к искусству, ни к идеям, — к жизни, может быть? Но тоже не к сегодняшней. Это книга о «Чемреках» Бонч-Бруевича. Обойти ее молчанием, даже теперь, — почти грех. Как она поразительна! Как тускло творчество отдельного человека, художника или мыслителя перед творчеством самой жизни!

Толстой и Осборн

Над бытием бессильно слово.

Делам, — не слову, — жизнь покорна.

Но тень великого Толстого

Стоит за именем Осборна.

Пусть люди сговорятся между собою. Пусть каждый опомнится, вдумается, переменится внутренне, тогда изменятся и условия жизни. Все изменится, приблизится царство Божие на земле.

Так говорил Толстой. И все мы с ним соглашались. Кто же мог не согласиться? Не ясно ли, что если все станут хорошими, то жизнь будет согласная и хорошая?

Голос Толстого звучал громко, на весь мир. Люди слушали. И, однако, не изменялись. Ничто не изменялось. «Пусть» — было верным, но пустым словом.

Отчего? Или так злонравны люди и лгут, не хотят хорошего? Тогда нечего и жалеть их. Сами виноваты, если несчастны. Нечего кивать на дурные условия. Условия созданы ими же самими, дурными людьми, оттого и дурны. Их бесполезно менять: сломаешь прежние — создадутся новые, совершенно такие же или худшие. Нет, «пока люди не сговорятся между собою...»

А что, если дело проще, и люди не не хотят изменяться и соглашаться, а не могут? Если они вовсе не злонравны, а только не умеют прыгать, рождены не прыгать — а ходить, ногами, по земле? «Пусть изменятся» — требование чуда. Если не чудо — то надо знать пути, надо знать, как приступить, с чего начать. «Мы все изменимся в одно мгновение ока», — но это сказано о чуде Божьем. Не требуя чуда от Бога, Толстой требует чуда от человечества. — Пусть! Да будет! — говорит он. — Прыгайте в царство истины и свободы! — Но люди не прыгают. Чудо не совершается.

Спор о том, как происходит движение вперед: посредством перемены условий или же перемены человека, — похож на спор, как мы ходим: левой ногой или правой? Толстой, впрочем, вовсе не признает левой ноги (условий); да ведь он и процесс хождения не признает, только прыжок: чудесным образом предлагает перепрыг-

нуть через всю историю на правой ноге. И чуда нет. Никто не прыгает. Не прыгнули даже одинокие, верные последователи Толстого. Каждый из них, подогнув левую ногу, стоит. Не падает — но и не идет никуда. Святость есть — чуда нет.

Требование чуда, — все равно от Бога или от людей, — дорога к отчаянию. Вечно ждать и верить, только ждать, стоять и верить — нельзя. Сомнение придет, даже к святому. Да чего мы ждем? Да будет ли? Не сговорились люди, не сговариваются... Нет, никогда не изменится жизнь на земле! Люди не люди, а несчастные звери. Поэтому и несчастные навек, что навек звери.

К этому нельзя не прийти: душа, сердце, мысль так устроены, что если бы все обыкновенные люди до конца уверовали верой Толстого, — они кончили бы проклятием и отчаянием. Никогда ничего не будет. Не может быть.

А это неправда. Будет; во всяком случае, может быть. Люди (не одиноко — а в коллективе) могут изменяться. И жизнь их может стать выше, лучше, человечней. Можно «сговориться», — сговариваться.

Слова о «сговоре-чуде» легко ведут к отчаянию. Но дела сговора, факты, даже частичные, маленькие, но реальные, земные, — открывают надежду и совсем новую веру. Факты перед словами всегда малы. Слова — огромны: они воздушны, им легко касаться отдаленнейших звезд; живой росток растет трудясь; и если вырастает в пол-аршина — перерастет, — земной, — самые высокие слова «о» земном.

Люди согласились, сговорились, изменилась их жизнь, изменились они сами... это случилось в Америке. Не во всей Америке, а на маленьком кусочке американской земли. Не много людей — всего около двух тысяч. Будь это люди, подобранные заранее по какому-нибудь общему принципу, вокруг одной общей идеи, или хоть соединившиеся по «*affinité*¹», вроде того, как складываются всевозможные «общины», секты, — не о чем было бы и говорить. Немало мы видели «общин», знаем и толстовские, знаем, что они возникают и падают, и ничего не изменяют. Нет, две тысячи американцев, о которых идет речь, вовсе не искали друг друга; и жили они вместе не по своей воле, а так, как живут люди — в одном и том же мире: многие в одной стране, в одном городе, в одной улице, в одном доме... Ведь по случайности рождения, по миллиону неисследимых причин, я живу вот тут, вижу вот этих прохожих, а не других; родина моя — Россия, а не Португалия. На маленьком кусочке американской земли жили вместе две тысячи людей так же мимовольно, полуслучайно, как миллионы их собраны в мире. Это был в уменьшенном виде земной шар.

Впрочем, нет: есть разница. На одной земле, в одной стране, в одном городе, — живут вообще люди, всякие, дурные и хорошие, в большинстве — средние. А тысяча шестьсот с лишним американцев, которые жизнь и себя изменили, — не всякие, не средние; они — преступники: воры, убийцы и мошенники. Каторжники. Это — обитатели старой каторжной тюрьмы (синг-сингской, в Нью-Йоркском штате). Это они «сговорились», «согласились», превратились из зверей в человека, очеловечили свою жизнь. Помог им «товарищ», «Том Броун» (как они его с нежностью зовут) — американец — человек Томас Мотт Осборн.

Деятельный и независимый американский гражданин, Осборн не сразу, однако, согласился принять тюрьму в свое ведение. Невозможной казалась предстоящая за-

¹ сходство, похожесть (фр.).

дача. Тюремные правила были бесчеловечны, преступники разбиты душевно и телесно, обозлены и мстительны. «Мы были, пишет один заключенный, одурелые или сумасшедшими, больными зверями...» «Но вот пришел Осборн... Он подарил нам свое полное доверие...» «И мы новый свет увидели».

Организованное самоуправление произвело полный переворот. Осборн прямо начал с того, что собрал прямо в тюрьме митинг, объяснил людям (еще зверям) свой план, предложил организовать («сговориться между собою»), обещал свою «товарищескую» помощь. Слову не изменил, но и у преступников оказалось такое же «честное» слово, и они тоже сумели ему не изменить.

Подробности «дела Осборна» рассказаны в поразительной статье Лазарева («Русские Записки»). Я не передаю их. Я лишь подчеркиваю суть. Подчеркиваю, что Осборн не обличал, не убеждал преступников. Ничего им не проповедовал. Он сделал только одно: оказал доверие. Поменял условия жизни в том смысле, что сделал фактически возможным их самостоятельный и свободный «сговор», «соглашение» между собою. И каторжная тюрьма, сборище преступников, диких, озлобленных и все более озлобляющихся зверей (надо знать, что там творилось), стала понемногу похожей на вольную страну, с честным самоуправлением, гласными выборными судами, урегулированным трудом, свободной печатью... и чем еще? — с твердым общественным мнением, достойно-человеческим.

Это сделал не Осборн, это сделали «преступники». Осборн — их «товарищ», случайно оказавшийся у дверей, которые мог отворить. Отворил, и люди вошли сами, потому что они люди... хотя и «преступники». Толстой звал к «измене-нию», требовал, убеждал, обличал... но никаких — ни путей, ни дверей, — даже не указывал. Больше: предостерегал от всяких (бесполезно изменять «условия»). Осборн, вне чуда, по-человечески помог, — и ускорил естественную «перемену». Только ускорил, — но в этом задача каждого: понять, что он может в его положении сделать для ускорения — и сделать. Всякий что-нибудь может. Осборн исполнил свой долг.

Знаменательно, что не преступная и «свободная» Америка привлекла-таки Осборна к суду. Еще и там живы традиции начала прошлого века, когда построена была синг-сингская тюрьма. Ее строили для «страданий заключенных, таких страданий, чтобы они вызывали чувство ужаса». Перед этим-то «демоном мщения», каменным мешком, и содрогнулся было Осборн. Он мечтал сначала «разрушить ее и обвить плющом. Пусть европейцы не говорят, что у нас нет развалин средневековья». Не удалось, — Осборн принял и «каменный мешок». Победил его, создал из него свободную страну внутренне свободных людей. И... попал под суд.

Но «преступники», — и заключенные, и отбывшие срок — спасли «товарища». Действовали в великом единодушии, в сознании своей правоты и человеческого достоинства. Оставившие тюрьму не забыли, не разлюбили своей «свободной страны» и «товарища» Осборна. Они собирали в Нью-Йорке многотысячные митинги, кричали, убеждали, рассказывали, чем были и что сделали потом с помощью Осборна. В тюрьме тоже действовали. И такая сила была в этом, порою жертвенном стоянии за правду, что правда победила. Преступники, каторжники победили «честных» людей, полноправных граждан Америки.

Осборн был торжественно оправдан, возвращен «товарищам». Он продолжает свое дело.

Для нас, здешних, сегодняшних, вся эта история, звучит странно — двояко. Или далеко и огромно до безнадежности, как чудо, как «измениться всем во мгновение ока» (свобода собраний, печати — в тюрьме, тысячные митинги бывших каторжан — в столице!), или же мы смотрим узко до плоскости: Осборн — начальник тюрьмы. Проводит реформы. Ну, что ж, добрый начальник, но какое это имеет значение? Тем более что он за морями. О тюремной реформе думают многие...

Но и этот плоский взгляд, — и он от безнадежности. Я понимаю безнадежность. Уж очень мы устали. Захлебнулись, снизились, глаза и руки опустили. Пророки наши — не помощники: великие — и безвыходные. Зовут выше, выше, под самое небо — и ни один не оглянется, не догадается сказать или показать, «небо-то — ведь оно в рост человеческий...»

Не надо нам сейчас пророков. Помощники нужны. И каждый может, должен, стать помощником каждому, все — всем. Пусть мы не изменимся «во мгновение ока». Но мы можем изменять, можем изменяться. Людям не только доступно — им естественно «соглашение», «сговор», творчество жизни и себя в нови: но им нужно знать к этому человеческие твердые пути.

Осборн знает, преступники узнали, и пошли, делают... Каменный мешок «Средневековья» не помешал. Чем же мы, остальные, где бы мы ни находились, хуже преступников? Лев Толстой нас, зверей, звал стать богами. На такой зов мы ответили неделанием, неподвижностью отчаянья. Не могли иначе. Но людьми стать можно, а если можно, то и должно.

«Когда люди сговорятся...» да, но сговорятся-то они не раньше, чем узнают то, что знают Осборн и его воры и убийцы.

Да помогут нам преступники синг-сингской тюрьмы!

«Петроград»

И вашими пойдем стопами,
И ваше будем пить вино.
О, если б начатое вами
Свершить нам было суждено!
(«14 декабря»)

Сбылось. «Начатое ими, декабристами, «свершить нам было суждено». Свободная Россия, свободный Петербург, родина «первенцев свободы». Я хочу напечатать одно из моих недавних, до последнего времени «преступных», стихотворений. Но ранее надо сказать несколько слов.

* * *

История знает «мрачный петербургский период». Но теперь она знает — и все мы знаем — другой, мрачнейший, беспримерно страшный период — петроградский. Он начался предосенними днями 14-го года и кончился в великие дни предвесенние 17-го. Петербург — единственный город мира, созданный по методу, по способу

революционному. Дух революционный питал его, и вечно прорывался, тем сильнее, чем сильнее его гасили. Никогда гашение и удушение его не доходило неистовства, как в последние годы: у окровавленного, опозоренного, кандального Петербурга было отнято все, даже историческое имя. Все было сделано, чтобы потушить его святой мятежный дух, умертвить «сознание и разум» России. Таким, с завязанными глазами, с прикрученными к столбу руками, с тряпкой во рту и с чужой кличкой на лбу, Петербург был выставлен на посмешище старому и новому свету.

Но сила духа, которым жил «этот самый фантастический из городов», была «смерти неподклонна»: она по самой своей природе ей не подклонна, ибо это сила духа революционного. И пламя вырвалось. Тем победнее и могущественнее, что воистину предельны были пытки русского «петроградского периода». Навеки проклята будь память его, вместе с рабьей кличкой, клеймом последнего самодержца!

Я знаю, что и Петр I был единовластным «царем». Я больше знаю: во многих статьях (заграничный сборник «Царь и Революция» 07 г.) было приведено много доказательств, что именно от Петра I потянулись некоторые нити, послужившие в дальнейшем к оформлению и укреплению у нас самодержавия. От этой своей мысли я не отрекаюсь. И все-таки утверждаю, что дух Петра — был дух подлинно революционный, всегда один и тот же по составу своему, только по формам разный, смотря по времени и месту проявления. Не забудем времени, когда жил Петр. Не забудем, каким был лик — не России, а Европы, в тот исторический час. Его отделяли еще многие десятилетия от Великой Французской революции. Священно-неподвижными тронами уставлена была Европа. Всех священнее и, главное, всех неподвижнее был трон царей московских. Мягки пурпурные подушки венчанных Москвой Романовых. Но Петр сорвался с них, мятежному духу претило это величественное, тишайшее успокоение. Не вмещался он и в узкое, только национальное, ложе. В нем была «вселенскость» («интернационализм», если говорить не по-русски). И уже скорее можно назвать Петра революционным диктатором, но не московским «царем». Он царь, самодержец, лишь словесно и формально, лишь взятый вне исторического преломления. А вне этого преломления ничего ни увидеть, ни понять нельзя.

Петербург, созданный мятежной волей, стал родиной всех праведных восстаний человеческого духа. Вздымалась и падала волна, но с каждым новым взлетом разрасталась. Петербург не забыл «первенцев свободы», революционных героев-офицеров 14-го декабря.

Идут, навстречу упованью,
К ступеням Зимнего крыльца,
Под темную мундирную тканью
Трепещут жадные сердца.
Своею молодой любовью
Их подвиг режуще-остер...
Но был потушен их же кровью
Освободительный костер.

Костер погас, но искры тлели. И вспыхивали все время, отдельные и яркие. Их были тысячи, тысячи. Тысячи громких и негромких имен. От четырнадцатого дека-

бря, через 1-ое марта, к 9-му января и дальше... И снова кровь, петля, снег Сибири, могильная, грозная тишина, — вплоть до конца, «петроградского» периода.

Это были последние клещи. Петербург вспыхнул пламенным столбом, — и за ним почти мгновенно, чудесно, загорелась и просияла вся Россия. Никогда она не была так едина и цельна (и сильна), как теперь — в свободе.

Но великим освободительным костром — красным знаком для России — запылал не Петроград, а именно Петербург. Не город жалкого Николая и его приспешников, а волшебная и страшная родина Пестеля, Рылеева, Муравьева, Перовской, Желябова, всех героев-мучеников 17-й весны. «Петроград» — творение Николая Романова. Не скажут ли — «звук пустой»? Да, но в конце концов и все «творчество» Николая всегда состояло из таких «звуков пустых». И пощечина ведь не более чем «звук пустой», с известной точки зрения. Этот самодержавно-хлестаковский жест: «пусть называется» Петербург Петроградом (хоть Чертоградом!) — попутная пощечина русской истории, плевков в сторону рабов (оботрутся!).

Но даже этот жест, эта пощечина, это «творчество», как самостоятельная выдумка, не по плечу были Николаю. Ведь его и самого-то почти не было. Было громадное, темное Небытие, покрывавшее Россию.

Жест Николая, как все его жесты, был ему подсказан (нашептан). Полуслучайно. Один из окружавших его жирных славянофилов-нигилистов соблазнился мыслью: «а вот возьмем — да и самую столицу переименуем! Двести лет так было, а захотим — иначе будет!» Влечение двора к преступно-бутафорскому «народству» известно: общий стиль «союза русского народа», на нем уж, как узоры — образки, Питиримы, наконец, распутинство.

Престарелый царесизм сюда и нагнул, — война, мол. Патриотизм, славянизм, а царица немка, а тут вдруг столица «по-немецки» (!) называется... Переименовать — это вызов патриотический подъем... Пусть не будет Петербурга. Пусть начнется Петроград. Подпишите, ваше величество!

Я не знаю, что сказал царь. Но думаю, что ничего не сказал. Посмотрел, вероятно, молча, погладил усы, и — подписал.

Умер (как будто) Петербург. Полетели по всему миру вести: создан Петроград, а Николай Романов его творец.

Так начался самый черный, самый кошмарный период русской истории — петроградский.

Но Николай пал. Восставший, воскресший, свободный Петербург сдул его, вековую пыль его и все дела его рук. Петербург должен снять с себя и Николаевскую кличку, которою мы, верноподданные рабы, покорно звали поработенный город. Вспомним, он свободен, и мы свободны! Иль привычка к повиновенью в нас так глубоко въелась, что мы уже не в силах снять с нашего русского «Города-Разума», города-начинателя великой русской революции, «клеймо позорных лет»?

«Петроград», творение Николая II, должен пасть вместе с Николаем II-м и последним. Этого требует революционный Петербург, похороненный и воскресший. Свободный Петербург.

А вот и мое «преступное» стихотворение о Петербурге. Оно написано 14 декабря 1914 года, но в нем уже была вера в наступление февральских и мартовских дней

17-го. Может быть, их предчувствие. Впрочем, вера и есть — первое предчувствие. Оттого «по вере и сбывается».

Петроград

Кто посягнул на детище Петрово?
Кто совершенное деянье рук
Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
Смел изменить хотя б единый звук?
Не мы, не мы... Растерянная челядь,
Что, властвуя, сама боится нас!
Все мечутся да чьи-то ризы делят,
И всё дрожат за свой последний час.
Изменникам измены не позорны.
Придет отмщению своя пора!
Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
С предателями предали Петра.
Чему бездарное в вас сердце радо?
Славянщине убогой? Иль тому,
Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
Крикливо льнет, как будто к своему?
Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,
Всё тот же — в ризе пламенных ночей,
Во влажном визге ветреных раздолий
И в белоперистости вешних пург, —
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

КОММЕНТАРИИ

Так надо — так будет

День. 1914. № 212 (8 авг.).

Заглавие статьи — полемическое переосмысление заголовка рассказа Л.Н. Андреева «Так было — так будет» (1906), где пессимистически оцениваются результаты любой революции.

Царь Давид не сделался зверем, когда перепилил 50 тысяч пленных тупыми пилами. — Ср.: «И собрал Давид весь народ и пошел к Равве, и воевал против нее и взял ее.

И взял Давид венец царя их с головы его, — а в нем было золота талант и драгоценный камень, — и возложил его Давид на свою голову, и добычи из города вынес очень много.

А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим» (2 Цар 12:30–32).

В наши времена

Голос жизни. 1914. № 4 <конец окт. — начало нояб.>. С. 11—12. Подпись: Антон Крайний.

...вроде «Позора Германии» г. Дальского... — Ср. крайне отрицательную рецензию на эту пьесу: *Маурин Евг.* Чей позор? («Позор Германии» — драма в 4 действиях из современной войны, соч. Мамонта Дальского) // Голос жизни. 1914. № 1 <не ранее 4 окт.>. С. 21—22. Дальский (наст. фамилия Неелов) Мамонт Викторович (1865—1918) — русский драматический актер.

Искажения

Голос жизни. 1914. № 6 (13 нояб.). С. 11—12. Подпись: Антон Крайний.

«Немцы — автоматы (механика). Автоматы — и Крупн и Кант, и Кант и Крупн». — Намек на вызвавший большой резонанс доклад В. Эрнэ «От Канта к Крупну», прочитанный 6 октября 1914 г. на публичном заседании Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева.

Апогей

Голос жизни. 1914. № 9 (10 дек.). С. 14. Подпись: Антон Крайний.

Статья (наряду с другими аналогичными выступлениями Гиппиус и Д. Мережковского) стала поводом для резкой редакционной отповеди журнала «Отечество» (*Редакция.* Вынужденный ответ // Отечество. 1914. № 7 (25 дек.). С. 140), где, в частности, сказано: «З.Н. Гиппиус <...> негодует на то, что в настоящий момент писатели... пишут, т. е. делают то дело, к которому они призваны. В неприличной выходке — таков литературный род, к которому относится ее заметка “Апогей” — Антон Крайний выражает крайнее недовольство Леонидом Андреевым. “За какой журнал, за какую газету не возьмись, везде статьи Л. Андреева”, — пишет Антон Крайний и в доказательство перечисляет три названия! Большой русский писатель Леонид Андреев искренне и честно делает свое дело, болеет душою о русском горе и испытывает потребность поднять свой голос, высказать то, что представляется ему важным и нужным для современности. Кто решится отрицать за ним право на высказывание и кто увидит в желании искреннего и честного писателя — высказаться о важных событиях нашей жизни — предмет для глумления? Вопрос, к сожалению, не риторический, ибо Антон Крайний делает и то и другое. Под его пером упреки по адресу Леонида Андреева звучат особенно бесстыдно, так как именно З. Гиппиус (она же Антон Крайний) стремится к помещению своих статей в возможно большем числе изданий, пишет и в “Дне”, и в “Биржевых”, пишет, можно сказать, на каждом шагу — во всяком новом еженедельнике.

Упреки Антона Крайнего Леониду Андрееву откровенно циничны, потому что сама же З. Гиппиус в своих стихах требует от писателей молчания в настоящий момент:

“Нужно целомудрие молчанья
И, может быть, тихие молитвы!”

Господин Антон Крайний, следуйте своим словам и постарайтесь заменить ваш цинизм даже без грации целомудренным молчанием, тихое злословие тихими молитвами!»

...«в чад войны» (заглавие статьи Розанова в «Н. Вр.»)... — См.: Новое время. 1914. № 13891. Название статьи позже было вынесено в заголовок книги статей: *Розанов В. В чад войны*. СПб.; М., 1916.

...цитаты из *Л. Андреева sunt odiosa. Непонятно, однако — факт.* — От выражения «*Nomina sunt odiosa*» — букв.: имена ненавистны (лат.). Здесь игра слов, так как латинское выражение обозначает, что подразумеваемые имена не следует называть.

За какую газетину, за какой журналишко ни возьмись — он! И «День», и «Биржевые», и прочие, а «Отечество» (к счастью, в кавычках) так прямо затоплено. — С начала войны Андреевым были опубликованы следующие статьи, непосредственно связанные с военной тематикой: Лазарет имени М. Метерлинка: Письмо в редакцию // Утро России. 1914. № 208 (2 сент.). С. 2; Две летописи // День. 1914. № 256 (21 сент.). С. 3; Прости! // Бирж. вед. 1914. № 14400 (28 сент.). Утр. вып. С. 4; Война и студенчество: Петроград, 12-го октября // Бирж. вед. 1914. № 14430 (13 окт.). Утр. вып. С. 2; Восхождение: Петроград, 15-го октября // Бирж. вед. 1914. № 14436 (16 окт.). Утр. вып. С. 2–3; Бельгийцам // День. 1914. № 286 (21 окт.). С. 3; Наши // День. 1914. № 298 (2 нояб.). С. 3; Война // Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 1. Подпись: Л.А.; Освобождение: Письма о войне // Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 6–15; Торгующим в храме // Бирж. вед. 1914. № 14470 (2 нояб.). Утр. вып. С. 3; Бельгии // Бирж. вед. 1914. № 14472 (3 нояб.). Утр. вып. С. 3; О германцах: Письма о войне // Отечество. 1914. № 2 (9 нояб.). С. 25–30; Слово о Сербии // Бирж. вед. 1914. № 14488 (11 нояб.). Утр. вып. С. 2–3; Номо // Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 61–64; Любите и жалейте солдата... // Отечество. 1914. № 3 (16 нояб.). С. 2 (обл.). Подпись: Л.А.; Ответ болгарам-македонцам // Бирж. вед. 1914. № 14506 (20 нояб.). Утр. вып. С. 3.; Крестоносцы // Отечество. 1914. № 5 (6 дек.). С. 82–85; В сей грозный час // Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 2; Сербы и Леонид Андреев // Бирж. вед. 1914. № 14540 (7 дек.). Утр. вып. С. 3. (Указаны только первые публикации: статьи Андреева пользовались успехом и охотно перепечатывались столичными и провинциальными газетами.)

Л. Андреев и на сцене Александринки... — Имеется в виду постановка на сцене Александринского театр пьесы Андреева «Король, закон и свобода», посвященной оккупации Бельгии немецкими войсками (премьера 19 декабря 1914).

...и в «инициативной группе» печати... — Имеются в виду сообщения об Андрееве как инициаторе собрания сотрудников петроградских газет, посвященного Дню печати. Андреев был выбран собранием в комиссию по выработке «конкретных указаний о помощи печати фронту» ([Б. н.] Совещание о «дне печати» // Обозрение театров. 1914. № 2585 (13 нояб.). С. 8–9.

...статья Л. Андреева, с криком протестующего против протеста ученых и литераторов Москвы... — Речь идет о статье «Освобождение» (Отечество. 1914. № 1 (2 нояб.). С. 615). См. наст. изд., с. 609–617.

Воды Бельгии не освежили увядших лавров... — Намек на центральный эпизод пьесы «Король, закон и свобода»: дабы воспрепятствовать наступлению немцев, король Бельгии приказывает открыть шлюзы дамб, сдерживающие морские воды, что вызывает затопление территории, на которую наступали германцы.

Странности газетно-театрального мира (Письмо в редакцию)

Бирж. вед. 1914. № 14567 (20 дек.). Веч. вып.

...*Савина играет в пьесе, режиссируемой Мейерхольдом.* — Речь идет о готовившейся в Александринском театре постановке пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо». Ср. запись в ее дневнике от 28 апреля 1915 г.: «Вот хотя бы история моей пьесы “Зеленое Кольцо” в Александринке. Ведь все было готово для ее постановки, директор одобрил, Мейерхольд начал работу, как вдруг... профессора из Москвы признали ее безнравственной! Чтобы пройти официальный этап — Литературный Комитет — и пройти с деликатностью (в здешнем <Петроградском> сидит Дмитрий <Мережковский>), я послала ее в Московский Комитет. И там, всячески расхвалив пьесу с художественной стороны, — решили, что она — неморальна, ибо “автор отдает предпочтение молодым перед пожилыми”. Честное слово! Также то “не морально”, что молодежь читает Гегеля и занимается историей!

Ну, тут пошел скандал. Директор вытребовал этот комический протокол. Начали думать, как покейнее старичков оборвать. В это время началась война, все спуталось; я и сама думать забыла о всяких пьесах. Но перед Рождеством случилась неожиданность. Савина прочитала мою пьесу (ей случайно послал Мейерхольд) и — возжелала ее играть! Играть Савиной там немного чего было, полумолодая роль матери, всего в одном действии, хотя роль трудная...

Чего захотела царица Александринки — то закон! И пьеса пошла. Савина сама очень интересна. Когда я бывала у нее, с Мейерхольдом, или она ко мне приезжала (еще вот в эту пятницу опять была, очень любопытно рассказывала о Тургеневе и Полонском), — я старалась, чтобы она не столько о моей пьесе говорила, сколько вообще, о себе, чтобы проявлялась, такое она талантливо-художественное явление. Жалею, что мало записывала из ее бесед.

Однако дотянули премьеру до 18 февраля. Ей предшествовал гам в газетах (как же: Мейерхольд, Савина, Гиппиус — вот так соединение! Муравейнику, при цензуре неслыханной, как на это не кинуться).

Сама премьеры прошла очень обыкновенно, то есть одни в восторге, другие в ненависти, газеты в неистовстве. Савина играла, конечно, не мою героиню, а свою, и, конечно, очень талантливо. Декорация второго акта (заседание “юных”) очень хороша: звезды в длинных, черных, зимних окнах. Но актеры нервничали, и были лучше на генеральной репетиции. (Из первых — я была всего на одной, на вечерней, с Блоком. Так что “кухни” почти не видела)» (*Гиппиус З.Н.* Дневники. М., 1999. [Т.] 1. С. 393–394). Об истории постановки пьесы см. также: *Бродская Г.* «Зеленое кольцо» З.Н. Гиппиус. Авторский замысел // Бродская Г. Сонечка Голлидей: Жизнь и актерская судьба. Документы. Письма. Историко-театральный контекст. М., 2003. С. 87–131.

Савина Мария Гавриловна (1854–1915) — ведущая актриса Александринского театра. Роль Елены Ивановны в «Зеленом кольце» была одной из последних.

Давыдов Владимир Николаевич (наст. имя и фам. Иван Николаевич Горелов, 1849–1925), ведущий актер Александринского театра и театральный педагог. Особенно прославился исполнением ролей русского классического репертуара (Гоголь, Островский, Лев Толстой, Сухово-Кобылин).

Наше будущее

День. 1914. № 321 (25 нояб.). С. 4. Подпись: Антон Крайний.

...журнал «Северный Гуслер». — См. коммент. к ст.: Н. Ястребов. «Зори грядущего»; Антон Крайний. «Зори ли? Грядущего ли?».

...отцы «Вечернего Времени»... — «Вечернее время» — газета консервативного направления, издавалась в Петербурге в 1911–1917 гг. Б.А. Сувориным (1879–1940; сын основателя газеты «Новое время» А.С. Суворина).

Война, литература, театр

Чего ждет Россия от войны: Сб. ст. Пг., [1915]. С. 94–101.

Письма Флобера к Жорж Занд летом 1870 года... — Далее в статье следует коллаж из писем Флобера периода с августа 1870 по март 1871 г., адресованных не только Жорж Санд, но и другим лицам (Из писем Г. Флобера во время Франко-прусской войны // Сев. записки. 1914. № 8–9. С. 170–185). Это куски из писем к Жорж Санд от 5 августа, 10 сентября, середины сентября (не датировано), 30 октября 1870 г., письма к Эдмону де Гонкуру от начала сентября того же года (не датировано), письма любимой племяннице Каролине от 22 сентября 1870 г. и письма госпоже Ренье от 11 марта 1871 г. Ср.: *Флобер Г.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1956. Т. 5 (по ук.).

...несмотря на работу, несмотря на доброго “Святого Антония”... — В 1869–1870 гг. Флобер после долгого перерыва заново приступает к работе над философской драмой «Искушение святого Антония» (первая ред. — 1847), которую заканчивает в 1874 г.

...кровь моих предков, начесов... — Имеется в виду индейское племя натчезов, проживавшее в районе реки Миссисипи и фактически исчезнувшее в начале XVIII в. в результате войн с французами; название племени стало во французской литературе символичным благодаря повестям Рене де Шатобриана «Атала» (1801) и «Рене» (1802), действие которых происходит среди натчезов.

Я уподобился Рахили, я не хотел утешиться. — Библейский образ отчаяния и горя. Пророк Иеремия говорит о горе Рахили, дети которой были уведены в вавилонский плен (Иер 31:15). Этот образ вновь возникает в Новом завете, отображая горе матерей после избиения младенцев царем Иродом: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Мф 2:17–18).

Когда в прошлом году явился Маринетти с этими самыми лозунгами завоевывать Россию... — Вождь итальянского футуризма и основатель самого литературного направления Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944) пробыл в России три недели — с 26 января по 17 февраля 1914 г., посетив Москву и Санкт-Петербург с многочисленными лекциями и выступлениями, которые пользовались большим успехом. Вопреки утверждениям Гиппиус и согласно, например, воспоминаниям поэта Бенедикта Лифшица, часть русских футуристов (в отличие от восторженных обывателей) отрицательно отнеслась к этим «гастролям» Маринетти (*Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 469–507).

Эти два пути очень ярко и доказательно были подчеркнуты, определены в свое время К. Чуковским (см. его последнюю книгу литературных очерков). — Имеется в виду книга К.И. Чуковского «Лица и маски» (СПб., 1914), в которой была статья «Футуристы».

...Писатель, если только он... — строфа из стихотворения Я.П. Полонского (1819–1898) «Писатель, если только он...» (1871).

Скажите прямо!

Голос жизни. 1915. № 3 (13 янв.). С. 5–6. Подпись: Антон Крайний.

О возрождении «неославянофильского» философско-политического движения в начале Первой мировой войны подробно см.: Хеллман Б. Когда время славянофильствует // Хеллман Б. Встречи и столкновения. Хельсинки, 2009. С. 12–26.

...последняя, декабрьская, книжка «Русской Мысли». — В журнале в № 12 за 1914 г. были опубликованы следующие статьи (доклады на заседаниях Московского религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева), принадлежащие упомянутым далее Гиппиус лицам: Г. Рачинскому «Братство и свобода» (с. 83–87; здесь и далее — 2-я паг.); Е. Трубецкому «Война и мировая задача России» (с. 88–96), Вяч. Иванову «Вселенское дело» (с. 97–107); С. Булгакову «Русские думы» (с. 108–115), знаменитый доклад В. Эрнэ «От Канта к Круппу» (с. 116–124), П. Струве «Великая Россия и Святая Русь» (с. 176–180).

...Франк <...> в своем <...> возражении... — Имеется в виду ст. С. Франка «О поисках смысла войны» (Русская мысль. № 12. С. 125–132).

...он выпустил брошюру... — В кн. Сергея Соловьева «К войне с Германией» (М.: тип. В.И. Воронова, 1914) содержатся статья «Немецкая опасность» и стихи, которые ниже цитирует З. Гиппиус.

...П.Б. Струве если и признает религию, то как дело чисто индивидуальное, *privat sache*. — Гиппиус намекает на заметку Струве «Религия и общественность», которая является ответом на «Открытое письмо редактору “Русской мысли”» самой Гиппиус (отстаивающей здесь идею религиозной общественности). Струве писал: «Никто, знакомый с ходом развития религиозной культуры, не может отрицать, что в самой идее церкви, связанной с государственностью и общественностью, заключена огромная опасность и угроза для личной свободы вообще, религиозной свободы в частности. Не случайно поэтому свободная общественность проводит идею отделения церкви от государства и абсолютно “частного” характера религиозной жизни (*Religion ist Privatsache*¹)» (Русская мысль. 1914. № 5. С. 136 (2-я паг.)).

Грядущее

День. 1915. 2 марта. № 59.

О постановке пьесы Гиппиус «Зеленое кольцо» см. также коммент. к ст. «Странности газетно-театрального мира».

Статья является ответом на ст.: Гиппиус Вл. Спор поколений // День. 1915. № 51 (22 февр.). С. 3. Автор ее утверждал:

¹ Религия — это частное дело (*нем.*)

«З. Гиппиус написала пьесу в похвалу молодых. Это и есть “зеленое кольцо” — молодые. Новая трава, новое поколение. Оно чувствует себя бунтовски, оно бросает вызов старым. Особенным, не похожим на прежние. Они не поворачиваются спиной и не высмеивают, как Чацкие и Базаровы. Они смотрят утилитарно. “Дядя Мика”, лучший из “старых” — для них книга, и даже не книга, а “переплет” — хороший, “кожаный”. Дядя Мика “потерял вкус к жизни”, но он им нужен как справочник, когда “зеленое кольцо” собирается в его комнате, около его дивана, на котором он сидит, поджав ноги и старчески кутаясь в плед — и сам, “не имея вкуса” вмешиваться и задавать вопросы, только дает справки и отвечает на вопросы; он нужен еще как провожатый, когда одну из девочек приходится отвезти на извозчике домой, и, наконец, он оказывается незаменимо нужен, когда, по решению кружка, одну из девочек можно вывести из той семейной путаницы, в которую она попала (мама разошлась с папой и сошлась с другим, папа раскис и сошелся тоже с другой), — женившись на несчастной девочке фиктивно. Так решило “зеленое кольцо”, — “кожаный переплет” помялся, но сразу же и согласился.

Я не критикую пьесы, ее художественных свойств и приемов. <...> я думал при исполнении пьесы не о таланте писательницы, и не о самой пьесе, — а только о споре поколений, о правде и неправде его — о том: правда ли, что душа реакции овладела не всеми молодыми — и правы ли те новые, которых благословляет З. Гиппиус — в их отношении к старым.

Нельзя не верить, что они есть, что они не выдуманы — те молодые, о которых говорит писательница. Я видел их — я слишком хорошо их знаю. Но старые они или новые? Живые или мертвые? Я знаю их, — но знаю и других — уже идущих, действительно живых, тех, которые никогда не бросят старым такого утилитарного вызова: “вы нам нужны, чтобы было от чего оттолкнуться, если прыгать”. Эти другие скорее станут в откровенную вражду, чем соединят свой утилитаризм “с милосердием”, как рекомендуют заправилы “зеленого кольца”. И я хотел бы знать, принимает ли сама З. Гиппиус вызов своего “зеленого кольца” или не принимает? Считает ли правым их утилитарное отношение к самой себе?

Времена изменились — совершается ли “прогресс” или что-нибудь иное, — безразлично. К тому поколению, к которому принадлежит З. Гиппиус, уже нельзя простодушно поворачиваться спиной, как к Фамусовской или Обломовской старине; к нему приходится волей-неволей отнестись хоть “с милосердием”. И правы ли “старые”, соглашаясь оценивать себя — дядями Миками?

Быть справочниками, провожатыми и фиктивными мужьями? Или в этом браке “старого” дяди Мики с “новой” Фимочкой писательница имела в виду такой тесный союз отцов и детей, что их отношения могут быть символизированы лишь браком?

И что же это за брак, где женятся те, самое почетное имя которых “кожаный переплет”? Что это за новые люди, которые не стесняются вступать в брак или союз — все равно, с теми, к кому они относятся лишь как к средству для достижения цели?

Кажется, деды (Базаровы), да и прадеды (Чацкие), поступали достойнее, когда откровенно поворачивались к старым спиной, и если вступали в фиктивные браки, то друг с другом, а не с теми, кого они принимают — в лучшем случае только “с милосердием”.

Не знаю уж, к старым или к новым отнесет меня “зеленое кольцо”, но дядя Мика, по моему, напрасно подчинился решению “новых”. Если бы их предложение его возмутило, я признал бы в этом возмущении правду. Не старую и не новую — а ту, которая — во веки

веков и которую постоянно забывают. Она не подвластна спору поколений, она неизменно одна и та же.

Если З. Гиппиус тоже так верит, то в своей пьесе она этого не высказала. И я думаю — потому, что подчинилась той русской “социологической” формуле, которую давно пора забыть всем, идущим к правде последней, непререкаемой. Под влиянием этой формулы, ищущей в общественной жизни во что бы ни стало “спора поколений”, писательница и приняла за “новых” “старых”, хотя и юных годами. И под влиянием той же формулы уничтожила свое собственное поколение до “дяди Мики”.

Те — “другие”, воистину новые, наверно сразу поймут, что речь идет не об них. Они себя в “зеленом кольце” не признают. И для меня — в этом их непризнании залог их силы».

Далькрозисты — последователи швейцарского композитора и педагога Эмиля Жак-Далькроза (1865–1950), создателя новаторской ритмической гимнастики, вызывавшей много споров у современников.

Тангисты — любители танго. Танго, в 1910-е годы начинавшее проникать в Европу из Аргентины, считалось непристойным, излишне эротичным танцем и было официально запрещено в некоторых европейских странах. Так, в 1914 г. появился указ министра народного просвещения, запрещающий в учебных заведениях России само упоминание о «вошедшем в большое распространение танце под названием Танго».

...в глубоком исполнении роли г. Юрьевым... — Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — с 1893 по 1917 г. один из ведущих актеров Александринского театра.

...к Роциной-Инсаровой, к Домашевой и Смоличу... — В предисловии к отдельному изданию пьесы Гиппиус писала: «Уже на генеральной репетиции, в артистических коридорах, никого нельзя было узнать: казалось, это все настоящие подростки, Смолич точно родился гимназистом “с серьезным будущим”. Цыбастой, несложившейся девочкой смотрела Роцинина-Инсарова. А про Домашеву подлинные гимназистки, мои приятельницы, подлинные участницы одного из подлинных “Зеленых колец” — спрашивали после спектакля: “Ведь Домашевой не больше же пятнадцати лет? Как же она уж актриса?”» (*Гиппиус З.Н.* Собр. соч. М., 1996. Т. 2. С. 509).

Равноценности

Голос жизни. 1915. № 9 (23 февр.). С. 1. Подпись: А. Кр.

Статья является откликом на ст.: *Тиняков А.* Переоценка ценностей // Голос жизни. 1915. № 8 (18 февр.). С. 12–14.

Н. Ястребов. Зори грядущего Антон Крайний. Зори ли? Грядущего ли?

Голос жизни. 1915. № 17 (22 апр.). С. 7–10.

В наст. подборке воспроизведены две статьи (Н. Ястребова и ответ на нее Гиппиус — Антона Крайнего) — в качестве образца популярного в журнале «Голос жизни» жанра критического диалога, когда параллельно с молодым литератором выступает мэтр (см.: *Козьменко М.В.* Полузабытый «Голос жизни» — «пораженческий» еженедельник // Русская

публицистика и периодика эпохи Первой мировой войны: Политика и поэтика: Материалы и исследования. М., 2013. С. 485–486).

Ястребов Николай Николаевич (1885–?) — студент Петербургского университета, молодой поэт из окружения Гиппиус; три его стихотворения она включила в сборник «Восемьдесят восемь современных стихотворений, избранных З.Н. Гиппиус» (Пг., 1917), в 1917 г. — офицер. Н. Ястребову Гиппиус посвятила стихотворение «Непоправимо» (1916).

З. Гиппиус посвятила молодежи даже целую пьесу. — Речь идет о пьесе «Зеленое кольцо» (см. коммент. к ст. «Странности газетно-театрального мира»).

...писатели из «Северного Гусляра» (не все, а гг. Туфанов, Кови, Нелли)... — «Северный гусляр» — «еженедельный журнал учащейся молодежи в пользу семей павших в бою воинов» — издавался в Петрограде в 1914–1915 гг. Помимо упомянутых Гиппиус лиц, в нем, например, публиковались статьи Питирима Сорокина и Эриха Голлербаха.

Туфанов Александр Васильевич (1877–1941) — поэт, теоретик искусства. Первые стихи опубликовал в журнале «Северный гусляр». В будущем (1920-е гг.) — идеолог анархо-индивидуалистических эстетических концепций, развивающих идеи заумного языка футуристов и т. п. Его теории повлияли на обэриутов.

Кови Антон — псевдоним Васильева Александра Алексеевича, редактора-издателя журн. «Северный гусляр».

Нелли — псевдоним Балаика Дмитрия Андреевича.

«Бедные мы, сознательные люди! — писал Флобер...» — Цитата из одного из писем Флобера к Жорж Санд, написанных летом и осенью 1914 г. (см. коммент. к ст. «Война, литература, театр»).

Надо «для всех быть всем», но помнить, что «спасешь только некоторых», по мудрому слову Павла. — Ср.: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор 9:22).

...желание «превратить жизнь в грезо-фарс». — Из стих. Игоря Северянина «Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!...») (январь 1915): «Я трагедию жизни претворю в грезофарс...».

Земля и камень

Голос жизни. 1915. № 17 (22 апр.). С. 12. Подпись: Роман Аренский.

Непосредственно после статьи Гиппиус в этом же номере «Голоса жизни» была опубликована подборка стихотворений Есенина: «Рыбак» («Под венком лесной ромашки...»), «Гусляр» («Темна ноченька, не спится...»), «Пахнет рыхлыми драченами...» (позднейшее название — «В хате»).

Пошел и на «поэзо-концерт». — 26 марта 1915 г. Есенин присутствовал на «поэзовечере» Игоря Северянина в Александровском зале Городской думы (Летопись жизни и творчества С.А. Есенина: В 5 т. М., 2003. Т. 1. С. 333).

...скорее до «экарлатной» зари додумается... — От écarlate — алый, пунцовый (*фр.*).

Раненая муза

Голос жизни. 1915. № 24 (10 июня). С. 1–2. Подпись: Антон Крайний.

«И вы хотите, люди, люди, // Чтоб я земную жизнь любил!..» — Неточно процитированные последние строки из стихотворения «Цветы для нагих, вино для сильных»; подп.: 9 июля 1914 г. У Сологуба: «И вы хотите, о люди, люди, // Чтоб жизнь земную я полюбил!..» (Русская мысль. 1915. № 4. С. 37).

«Громки будут громкие дела... // ...Нации в союзе племен...» — Неточно процитированные строки из стихотворения «Марш». У Сологуба: «Громки будут отважные дела...»; «Нация стала союзом племен» (Сологуб Ф. Война. Пг., 1915. С. 8).

«Прежде чем весна откроет...» — Строфа из стихотворения «Утешение Бельгии» (Сологуб Ф. Война. С. 20).

«Опять, опять надеждой полны...» — Цитируются строки из стихотворения «У Босфора» (Бирж. вед. 1915. № 14733 (17 марта). Утр. вып.).

...всем нам известного «Лукоморья»? — «Лукоморье» — издательство и одноименный журнал при газете «Новое время»; третируются либеральной интеллигенцией как официозные и реакционные. Однако ср. современное освещение художественной и идеологической программ журнала: Лекманов О.А. У «Лукоморья»: К истории одного журнала // Лекманов О.А. Поэты и газеты: Очерки. М., 2013. С. 69–85. Сологуб печатался в журнале до конца октября 1915 г.

...оно недостойно последнего из наших «писателей» «Петер...», виноват, «Петроградской газеты». — «Петербургская (Петроградская) газета» (1867–1917) — популярное, ориентированное на массового читателя, благонадежное и лояльное правительству издание; по мнению Н.С. Лескова, «“серый” листок, который читает 300 тысяч лакеев, дворников, поваров, солдат и лавочников» (Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т.11. С. 472).

Без «аминя»

(«Воспоминания кстаги»)

Бирж. вед. 1915. № 15151 (16 окт.). Утр. вып.

О знаменитом в свое время Илиодоре писали... но или ради сенсации, или с брезгливостью: культурный пережиток! — Илиодор (Труфанов Сергей Михайлович, 1880–1952), иеромонах-расстрига, широко известный в 1905–1914 гг. своими скандальными акциями, выступлениями не только против инородцев, евреев и интеллигенции, но и против ряда высших государственных сановников. Одно время поддерживался Г. Распутиным и саратовским епископом Гермогеном. В 1912 г. расстрижен, в 1914 г. эмигрировал.

Вызвали еп. Варнаву к допросу, а он ответил, что ему, по милости Божьей, было видение, согласно видению он и поступил. Ответив так, — ушел, и спокойно уехал. — Речь идет о скандале, возникшем вокруг тобольского епископа Варнавы (Накропина Василия, 1859–1924), который без принятого согласования со Священным синодом 27 августа 1915 г. устроил в Тобольске «величание» (фактически — канонизацию) епископа Иоанна Тобольского (1651–1715), известного своей просветительской и миссионерской деятельностью в Сибири. Вызванный в сентябре того года в Петроград в Синод для объяснения, Варнава утверждал, что он совершил канонизацию «по указанию свыше». Несмотря на предложение Синода не

уезжать из Петербурга, так как его объяснения не были признаны удовлетворительными, почти сразу же уехал в Тобольск. Поведение епископа Варнавы во многом было вызвано тем, что он являлся ставленником Григория Распутина, с которым был согласован акт канонизации. В последующем в инцидент (в конечном счете превратившийся в противостояние Синода и Распутина) вмешался Николай II, благодаря чему всероссийская официальная канонизация Иоанна Тобольского состоялась летом 1916 г., а Варнава осенью того же года был возведен в сан архиепископа.

Щетинины (вспомним недавнее дело сектанта-provокатора-миссионера), Легкобытовы (ученик Щетинина)... — Щетинин Алексей Григорьевич (1854–?) основал в 1907 г. в Петербурге секту чемреков (ответвление так называемого «Старого Израиля»). Секта имела ярко выраженный тоталитарный характер, Щетинин требовал полного духовного и физического подчинения ему со стороны ее членов, вплоть до принуждения к половой жизни с ним замужних женщин (причем проявлял при этом садистические наклонности), обложил участников секты денежной данью. В марте 1909 г. измученные морально члены секты «низложили» Щетинина и под руководством его ученика Легкобытова организовали новую общину, названную «Начало века». Как выяснилось позже, Щетинин на самом деле был тайно связан с миссионерской службой официальной церкви и в течение многих лет докладывал ее представителям о сектантских группах в разных частях России, т. е. по сути являлся агентом-provокатором. В 1915 г. был осужден за ложный донос (см.: Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России / Под ред. В. Бонч-Бруевича. Отд. Сектанство. Пг., 1916. Вып. 7: Чемреки. Ответвление Старого Израиля / Вступ. ст., заметки и примеч. В. Бонч-Бруевича. С. СХII–СХХVII).

...«братцев-трезвенников»<...> (Иванушку) в его же вырицкий домик... — Речь идет об Обществе христиан-трезвенников и его основателе Иване Алексеевиче Чурикове (1861–1933). В 1890-е он переселяется в Петербург и начинает пропаганду трезвости, очень быстро обретая множество последователей. Подозреваемый в сектантстве, многое претерпевает от преследования властями. В 1905 г. в Вырице, под Петербургом, организует колонию для трезвенников, которая в последующем превращается в успешное сельскохозяйственное предприятие. В 1914 г. Епархиальным петербургским миссионерским советом отлучен от церкви. В 1929 г. арестован ОГПУ, умер в заключении. В Вырице до сих пор существует (восстановлен в 1990-е гг.) «Дом трезвости», а в Ленинградской области — несколько разных общин «чуриковцев» (например, Религиозное общество последователей брата Иоанна Чурикова). См.: *Краснов-Левитин А. Лихие годы: 1925–1941.* Париж, 1977. С. 151–154.

...«благодатные дары оскудели». — Ср.: «<...> оскудело преподавание благодати, потому что пресекалось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцов, и чрез возложение рук их, имели дарование духовное. Но отгорженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестити, ни рукополагати, и не могли преподати другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали» (Василий Великий. О Святом духе. К святому Амфилохию, епископу Иконийскому // Полн. собр. творений Св. Отцов Церкви в рус. пер. Т. 3: Василий Великий. Кн. 1. М., 2012. С. 35).

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» — Пс 1:1.

Вспоминается мне один из верных служителей благодати... — В своем позднейшем очерке «Лундберг, Антонин, Есенин» (1922) Гиппиус уточняет имя этого служителя и детали

изложенных в раннем фельетоне событий: «Вот Антонин; еще не епископ — архимандрит. Первые, участвующие, «Религ. Фил. Собрания» подняли железный занавес, отделявший среднюю церковную от интеллигентской. Антонин с особой жадностью бросился к «светским». К нам зачастил и вечером, и утром, и на заседания, и так. Секретарем «Собраний» был некий Е. Е., человек вида и манер (да, кажется, и биографии) интеллигента-нигилиста 60-х годов. Ему протезировал молодой тогда Тернавцев и предобродушно звал своего приятеля не иначе, как «пес». Архимандрит Антонин и «пес» сделались неразлучны. Вместе шлялись по трактирам, причем Антонин заказывал себе самые скромные яства, а «пес», в пику другу, — постные. Вместе приходили они и к нам. Если народу было не так много, то беседа сводилась к темам довольно интимным: Е. Е. при Антонине рассказывал о лаврских его успехах, о дамах, о платочках, которые, подобно султану, он раскидывал... Антонин, черный, громадный, костлявый, даже сутулый от громадности и костлявости, с тяжелой нижней челюстью и косматыми бровями, — слушал, помавая главою. Подсказывал образы, гудел басом, сильно на «о»:

— И тогда разбила она алавастровый сосуд тела своего меня ради...

Ничего «холеного» в нем не было. Он презирал «элегантность» архимандрита Сергия. Помню его довольно замызганный подрясник и круглую поярковую шляпу. Мы смотрели на него немножко, как на *enfant terrible*¹.

— Поздно, о. Антонин. Ворота в Лавре уже заперли.

— А пусть! Когда я выхожу на дела тьмы (это он наши заседания и разговоры с интеллигентами, — «светскими» — называл делами тьмы) — я приготавливаю себе убежище, где склонить главу...

Его почему-то любил тишайший Антоний, тогдашний митрополит. Антонин сам не знал — почему, и городил какую-то чушь:

— Говорю я ему: а потому вы меня любите, владыка святой, что мы схожи: вы Антоний — я Антонин. У вас губы толстые — у меня губы толстые. У обоих у нас, значит, темперамент...

Кто-то сказал, что Антонин — невежда. Это неправда. Его даже называли в церковных кругах «кладезем учености». Он был автором какого-то очень серьезного богословского исследования, требовавшего большой эрудиции. Это не мешало ему оставаться, конечно, диким и наивным. Но не в этом дело. Дело в том, что сердцевина его была проедена тем же червяком, что и у Лундберга. Если неврастенический слабняк Лундберг пищал по ночам от боли, то громадный, толстогубый Антонин должен был выть корчась — вот и вся разница. Он не приbedнялся, не вертелся, не говорил и не думал о самоубийстве. Он был прямее, открытее, не боялся быть и мелочно-тщеславным, наивно-тщеславным. Раз думали выбрать его председателем заседания. Он тотчас же радостно объявил свой план.

— Первое отделение — говорю я. Потом перерыв. После перерыва — говорю опять я...

Председателем он так и не был, но одну речь его, сильную и жестокую, я помню. Он говорил против свободы совести и начал так:

— Христианство — экскоммуникативно...

Архимандрит Антонин, затем епископ, ныне «советский», большевистский епископ Антонин — человек «*sans foi ni loi*»²; человек без малейшей веры и без всякого закона. Безверие-беззаконие из него, что называется, перло. И он этим не смущался. Не на собраниях, конечно,

¹ ужасный ребенок (*фр.*).

² без стыда и совести (*фр.*).

но в большом и смешанном обществе, при куче иерархов, при небезызвестном миссионере Сковрцове, лакее Победоносцева, он со смаком объявлял:

— А я вам такое скажу, такое, что вы все зашатаетесь... Вы послушайте. Ничего того, что в Писании, не было. Ни Христа не было, ни распятия, ни апостолов, ничего не было. А это все — типы...

Не дослышав, но без удивления, готовый, очевидно, ко всему, Сковрцов переспросил:

— Киты?

— Не киты, а типы... — вразумительно поправил его Антонин и продолжал, занимая общее внимание, развивать свою теорию. Говорил убежденно, не без желания нас поразить, конечно, — но искренно.

— Все типы... Ничего не было... Саранча в Писании — тоже тип: понимай — мелкая пресса...

Для него и иерархии ценностей не существовало: раз «ничего не было», так равны и саранча, и распятие... Не имел он веры никакой, даже и материалистической, как ни малейшего закона. «Ложь? Что есть ложь? Христа не было, и... христианство экскоммуникативно. Все типы», и... он хочет быть епископом. И будет. Его митрополит любит.

Червь, однако, не усыпает, и Антонин в вечном страдании. Достигнув епископства, снова мучится, тянется дальше, слепнет и... промахивается. В 1905 году, после октябрьского манифеста, он «дерзнул»: взял да и не возгласил в Казанском соборе: «самодержавнейший».

Его тотчас же убрали. Отсюда начинается темная полоса в жизни Антонина. Знаю только, что сосланный куда-то на юг, не возвращаемый, несмотря на все прошения, он дошел в муках своих до форменного безумия, даже сидел в лечебнице. Мельком видели мы его на Кавказе перед войной: белый, засутулившийся еще круче, глаза горят той же злой мукой: не усыпает червь.

Но вот пришло наконец время Антонина: время безверников и беззаконников. Час их преуспеваний. Антонин непременно преуспеет... если успеет. Поздно что-то он выплыл. Мог бы и раньше. Для «советской власти», если она все-таки зажелает иметь патриарха, — Антонин самый подходящий. Лучше не найти» (*Гиппиус З.Н.* Мечты и кошмар: Неизвестная проза 1920–1925 годов. СПб., 2002. С. 269–272).

Речь идет об бывшем епископе Антонине (Грановском Александре Андреевиче; 1865–1927). В 1902 г. в Киевской духовной академии защитил магистерскую диссертацию на тему «Книга пророка Варуха. Репродукция» (изд.: СПб., 1902). В своем дневнике Гиппиус, рассуждая о различных деятелях современной церкви, записывает 29 марта 1903 г.: «Попадают такие блестящие, интересные схоластики умом и нутром — как архиерей Антонин, притом совершенные еретики, не верующие в подлинность исторического бытия Христа.

Этот архиерей Антонин, ныне епископ Нарвский (недавно), летом даже сходил с ума, теперь поправился» (*Гиппиус З.Н.* Дневники. Т 1. С. 125).

Причинами увольнения Антонина на покой (формально — «по болезни») 6 февраля 1908 г. было не только произнесение им во время богослужений при поминовении государя титула «самодержавнейший» («необязательного», по его мнению, после манифеста 17 октября 1906 г.), но и публикация им в «Новом времени» ряда статей, признанных еретическими (из-за уподобления сочетания законодательной, исполнительной и судебной власти Св. Троице и т. п.) После Октябрьской революции 1917 г. стал одним из лидеров обновленческого движения в церкви, лояльного к советской власти и сумевшего временно сместить со

своего поста патриарха Тихона (подробнее о нем см.: Православная энциклопедия. М., 2000. Т. 2. С. 682–684).

Детский взор («Воспоминания кстаги»)

Бирж. вед. 1915. № 15181 (31 окт.). Утр. вып.

Шуми Марица // Окровавлена... — «Шумит Марица» (1876, автор слов Никола Живков) — первоначально марш болгарских добровольцев в Сербии, в 1885–1944 гг. государственный гимн Болгарии, в 1912 г. текст был отредактирован Иваном Вазовым.

...война с турками. — Русско-турецкая война (1877–1878) велась Российской империей и балканскими государствами против владычества на Балканах Османской империи. Одной из ее причин было жестокое подавление Апрельского восстания в Болгарии (весной 1876).

Башибузуки — нерегулярные военные отряды в Османской империи, плохо управляемые военным руководством и отличавшиеся особой жестокостью, мародерством и насилием над мирным населением.

Патриотический институт — Женский патриотический институт (основан в 1822) являлся одним из первых в России учебно-воспитательных заведений, дававших общее и специальное среднее образование женщинам. Выпускницы его часто работали гувернантками.

...Шипка, нечто вроде горы, на которой «все спокойно». — Взятие и оборона Шипкинско-го перевала (июль–декабрь 1877) стали ключевыми моментами Русско-турецкой войны. Выражение «На Шипке все спокойно» связано с бодрыми донесениями оттуда генерала Ф.Ф. Радецкого, не соответствовавшими бедственному положению охранявших перевал частей, плохо экипированных и замерзавших в суровых горных условиях (особенно популярным выражение стало после знаменитого триптиха художника В.В. Верещагин под тем же названием).

Белый Генерал — народное прозвание Скобелева Михаила Дмитриевича (1843–1882), выдающегося полководца, прославленного своими победами в Русско-турецкой войне и считавшегося освободителем Болгарии.

Взяли Плевну <...> ликовали насчет Осман-паши... — Осман Нури-Паша (1932–1900), турецкий военачальник, прославился упорной, пятимесячной обороной города Плевны. Капитулировал 28 ноября 1877 г.

Царские комнаты — специальное помещение для привилегированных особ на российских дореволюционных железнодорожных вокзалах.

Литературное «сегодня»

Утро России. 1916. № 93 (2 апр.). С. 5. Подпись: Антон Крайний.

Но Маяковский настаивает, захлебываясь, на пояснениях, в 1 номере журнала «Взят»... — Речь идет о статье Маяковского «Капля дегтя» — передовой в сборнике «Взят. Барабан футуристов», который вышел в декабре 1915 г. в Петрограде.

Предмет десятой необходимости

Утро России. 1916. № 260 (17 сент.).

Новиков Иван Алексеевич (1877–1959) — русский писатель, в ранний, дореволюционный период творчества испытывал влияния философии Платона, Владимира Соловьева, младосимволистов, был близок к неореализму.

...пьеса его шла (до сих пор идет) в театре Незлобина... — Речь идет о пьесе И.А. Новикова «Горсть пепла» (1916).

В «Орембовских»... — Имеется в виду роман Новикова «Дом Орембовских» (1915; другое название — «Между двух зорь»), в целом высоко оцененный критикой.

«Из жизни духа» — роман, написанный в 1906 г.

«Коричневые яблоки» — повесть, опубликованная в первом номере журнала «Русская мысль» за 1916 г.

«Смысл творчества» — книга Н.А. Бердяева «Смысл творчества. Оправдание человека» вышла в марте 1916 г.

...книга о «Чемреках» Бонч-Бруевича. — Материалы к истории и изучению религиозно-общественных движений в России / Под ред. В. Бонч-Бруевича. Отд. Сектанство. Пг., 1916. Вып. 7: Чемреки. Ответвление Старого Израиля / Вступ ст., заметки и примеч. В. Бонч-Бруевича. 705 с.

Толстой и Осборн

Утро России. 1916. № 334 (30 нояб.).

Над бытием бессильно слово... — Источник эпиграфа не установлен. Скорее всего, стихи принадлежат самой Гиппиус.

Помог им «товарищ», «Том Броун» (как они его с нежностью зовут)... — Вероятно, прозвище связано с именем героя популярного в Великобритании и США в те времена романа Томаса Хьюза «Школьные годы Тома Брауна» (1857), повествующего о жизни английской школы-интерната; в переносном смысле — «верный школьный товарищ».

Осборн Томас Мотт (1859–1926) — американский общественный и политический деятель, реформатор тюремной системы, а также политической системы в штате Нью-Йорк.

...в поразительной статье Лазарева («Русские Записки»). — Лазарев Е. С того света (Дело Осборна) // Русские записки. 1916. № 9. С. 176–194.

Осборн принял и «каменный мешок». Победил его, создал из него свободную страну вунтерно свободных людей. И... попал под суд. — Осборн, согласовав свои планы переустройства одной из самых страшных тюрем США — Синг-Синг с губернатором штата и руководством тюрем, вступил в должность начальника тюрьмы 1 декабря 1914 г. Однако уже после успешного проведения реформ в июне 1915 г. возникли трения между ним и начальником тюрем штата Рейли. Противники нововведений обвиняли Осборна в попустительстве распушенности заключенных, в злоупотреблениях и т. п. На предложение Рейли подать в отставку Осборн ответил отказом и потребовал судебного разбирательства. 1 декабря 1915 г. Осборн был временно отстранен от должности и отдан под суд. Все это вызвало бурную реакцию со стороны участников созданной им в тюрьме (и уже имевшей свой филиал на свободе)

Лиги взаимного благополучия (Mutual Welfare League). В конце января 1916 г. в Нью-Йорке в известном здании Карнеги-холл состоялось собрание с участием около 3000 человек, на котором множество бывших заключенных свидетельствовало в пользу реформы Осборна. 16 июля 1916 г. Осборн с триумфом вернулся на должность начальника тюрьмы Синг-Синг.

Петроград

Речь. 1917. № 66 (17(30) марта).

...во многих статьях (заграничный сборник «Царь и Революция» 07 г.) было приведено много доказательств, что именно от Петра I потянулись некоторые нити, послужившие в дальнейшем к оформлению и укреплению у нас самодержавия. — Имеется в виду крайне радикальный сборник статей «La Tsar et la Révolution» (Paris, 1907; на фр. яз.), одним из центральных мотивов которого было религиозное обоснование революции, основанное на отрицании божественной природы царской власти (она, по сути, объявлялась властью антихристовой). См. современное изд. на рус. яз.: Мережковский Д., Гиппиус З., Философов Д. Царь и революция: Сб. / Под ред. М.А. Колерова, вступ. ст. М.М. Павловой, пер. с фр. О.В. Эдельман, подгот. текста Н.В. Самовер. М., 1999.

...Питиримы... — Питирим (Окнов Павел Васильевич 1858–1919), митрополит Петроградский и Ладожский, участник правомонархического движения, почетный председатель Курского отдела Союза русского народа. Был близок к Г. Распутину, активно участвовал в придворных интригах.

Подготовка текста и комментарии М.В. Козьменко